

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ЭДГАРА ПО  
ВЪ ПЕРЕВОДЪ СЪ АНГЛІЙСКАГО  
К. Д. БАЛЬМОНТА ТОМЪ ВТОРОЙ

РАЗСКАЗЫ, СТАТЬИ,  
ОТРЫВКИ, АФОРИЗМЫ.

2



МОСКВА 1906  
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО  
„СКОРПИОНЪ“



Ф 24165-37



2010513070

ТОВАРИЩЕСТВО ТИПОГРАФИИ А. И. МАМОНТОВА  
МОСКВА, ЛЕОНТЬЕВСКИЙ пер. д. № 5.

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

### РАЗСКАЗЫ:

1. Сердце-изобличитель . . . . .	1
2. Береника . . . . .	9
3. Морэлла . . . . .	21
4. Элеонора . . . . .	29
5. Свиданіе . . . . .	37
6. Бочка Амонтильядо . . . . .	53
7. Человѣкъ толпы . . . . .	62
8. Факты въ дѣлѣ Мистера Вальдемара . . . . .	75
9. Колодець и маятникъ . . . . .	88
10. Вильямъ Вильсонъ . . . . .	110

### СТАТЬИ:

1. Поэтическій принципъ . . . . .	141
2. Философія творчества . . . . .	167
3. Философія обстановки . . . . .	183
4. Отрывки и афоризмы . . . . .	192

---



Р А З С К А З Ы.



## СЕРДЦЕ - ИЗОБЛИЧИТЕЛЬ

Да! я очень, очень нервень, страшно нервень; но почему *хотите* вы утверждать, что я сумасшедший? Болѣзнь обострила мои чувства, отнюдь не ослабила ихъ, отнюдь не притупила. Прежде всего чувство слуха всегда отличалось у меня особенной остротой. Я слышалъ все, что дѣлалось на небѣ и на землѣ. Я слышалъ многое изъ того, что дѣлалось въ аду. Какой же я сумасшедший? Слушайте! вы только слушайте и наблюдайте, какъ трезво и спокойно я могу все разсказать.

Невозможно опредѣлить, какимъ образомъ эта мысль первый разъ пришла мнѣ въ голову; но, разъ придя, она преслѣдовала меня и днемъ и ночью. Цѣли тутъ не было никакой. Страсти не было никакой. Я любилъ старика. Онъ никогда мнѣ не дѣлалъ зла. Онъ никогда меня не оскорблялъ. Денегъ его я не хотѣлъ. Я думаю, что во всемъ былъ виноватъ его глазъ! Да, именно такъ! Одинъ его глазъ былъ похожъ на глазъ ястреба — блѣдно-голубаго цвѣта съ бѣлымъ. Каждый разъ, когда онъ смотрѣлъ на меня этимъ глазомъ, кровь во мнѣ холодѣла, и вотъ мало-по-малу, постепенно, мной овладѣла мысль убить старика, и этимъ путемъ разъ навсегда освободиться отъ его глаза.

Такъ вотъ въ чемъ дѣло. Вы забрали себѣ въ голову, что я сумасшедший. Сумасшедшіе не знаютъ ничего. Но

вы бы только посмотрѣли *на меня*. Вы бы только посмотрѣли, какъ умно я все устроилъ—съ какой осторожностью—съ какой предусмотрительностью, съ какимъ притворствомъ, я принялся за дѣло! Никогда я не былъ болѣе предупредителенъ къ старику, нежели въ теченіи цѣлой недѣли передъ тѣмъ, какъ я его убилъ. И каждую ночь, около полночи, я повертывалъ защелку его двери и открывалъ ее—о, какъ тихо! И потомъ, когда отверстіе было достаточно широко, чтобы пропустить мою голову, я протягивалъ туда потайной фонарь, совершенно закрытый, закрытый настолько, что ни луча оттуда не просвѣчивало, и тогда я просовывалъ въ дверь свою голову. Вотъ бы вы разсмѣялись, если бы увидѣли, съ какой ловкостью я ее просовывалъ! Я подвигалъ ее медленно, очень, очень медленно, чтобы не потревожить сонъ старика. Проходилъ цѣлый часъ, прежде чѣмъ я просовывалъ голову настолько, чтобы видѣть, какъ онъ лежитъ въ своей постели. А! Развѣ сумасшедшій могъ бы быть такъ благоразуменъ? И затѣмъ, когда голова моя была въ комнатѣ, я осторожно открывалъ фонарь—о, такъ осторожно—такъ осторожно (потому что пружина скрипѣла), я открывалъ его какъ разъ настолько, чтобы одинъ тонкій лучъ упалъ на ястребиный глазъ. И я дѣлалъ это цѣлыхъ семь долгихъ ночей, каждую ночь, ровно въ полночь, но глазъ всегда былъ закрытъ, и, такимъ образомъ, мнѣ было невозможно совершить дѣло, потому что не старикъ меня мучилъ, а его Дурной Глазъ. И каждое утро, когда наступалъ день, я спокойно входилъ въ его комнату и оживленно разговаривалъ съ нимъ, ласково называлъ его по имени, и спрашивалъ, какъ онъ провелъ ночь. Вы видите, старикъ долженъ былъ бы обладать очень большою проницательностью, чтобы подозрѣвать, что каждую ночь, ровно въ двѣнадцать часовъ, я смотрѣлъ на него, покуда онъ спалъ.

На восьмую ночь я опять пошелъ, и на этотъ разъ открывалъ дверь съ еще болѣею осторожностью, чѣмъ прежде.



Минутная стрѣлка на часахъ двигается быстрѣе, чѣмъ дѣлалась тогда моя рука. Никогда до этой ночи не чувствовала я размѣровъ моихъ силъ, моей предусмотрительности. Я едва могъ сдерживать торжествующій восторгъ. По крайней мѣрѣ, я тутъ потихоньку открываю дверь, а еще даже и не снятся мои тайныя дѣла и мысли. Когда это пришло мнѣ въ голову, я засмѣялся чуть внятнѣе, прерывистымъ смѣхомъ, и, быть-можетъ, онъ услышалъ меня, потому что онъ внезапно повернулся на постели, какъ бы вздрогнувъ. Вы, пожалуй, подумаете, что я удалился — нѣтъ. Въ его комнатѣ не видно было ни зги (ставни были плотно заперты, онъ боялся воровъ), и я зналъ, что онъ не могъ видѣть открытой двери, и я все ее открывалъ, такъ спокойно, такъ спокойно.

Я уже просунулъ голову въ комнату, и готовился открыть фонарь, какъ вдругъ мой большой палецъ скользнулъ по жестяной задвижкѣ, и старикъ вскочилъ на постели, вскрикнувъ: „Кто тамъ?“

Я былъ неподвиженъ и не говорилъ ни слова. Въ продолженіи цѣлаго часа я не двинулся ни однимъ мускуломъ, и все время слышалъ, что онъ не ложился. Онъ все еще сидѣлъ на своей постели и слушалъ; совершенно такъ же, какъ ночь за ночью я слушалъ здѣсь тиканье стѣнного жучка-точильщика.

Но вотъ я услышалъ слабый стонъ, и я зналъ, что это былъ стонъ смертельнаго страха. То не былъ стонъ муки или печали — о, нѣтъ! — то былъ тихій, заглушенный звукъ, который исходитъ изъ глубины души, когда она подавлена ужасомъ. Я хорошо зналъ этотъ звукъ. Много ночей, ровно въ полночь, когда весь міръ спалъ, онъ вырывался изъ моей груди, усиливая своимъ чудовищнымъ откликомъ ужасы, терзавшіе меня. Я говорю, я зналъ его хорошо. Я зналъ, что чувствовалъ старикъ, и мнѣ было его жалко, хотя въ сердцѣ моемъ дрожалъ судорожный смѣхъ. Я зналъ, что онъ не спалъ съ того самаго мгновенія,

когда легкій шумъ заставилъ его повернуться въ постели. Съ этого мгновенія страхъ все больше наползалъ на него. Онъ старался убѣдить себя, что опасенія напрасны, но не могъ. Онъ говорилъ себѣ: „Это ничего, это только вѣтеръ въ каминѣ, это только мышь пробѣжала по полу“, или: „Это только крикнулъ сверчокъ, онъ только разъ крикнулъ“. Да, онъ старался успокоить себя такими догадками; но видѣлъ, что все тщетно. *Все тщетно*, потому что Смерть, приближаясь къ нему, прошла передъ нимъ съ своею черной тѣнью, и окутала жертву. И это именно зловѣщее вліяніе незримой тѣни заставило его чувствовать, хотя онъ ничего не видѣлъ и не слышалъ, *чувствовать* присутствіе моей головы въ комнатѣ.

Я выждалъ очень терпѣливо значительный промежутокъ времени, но слыша, что старикъ не ложится, я рѣшилъ открыть въ фонарѣ маленькую щелку—очень, очень маленькую. Я сталъ ее открывать—вы представить себѣ не можете, до какой степени безшумно, безшумно—п, наконецъ, отдѣльный блѣдный лучъ, похожій на вытянутую паутинку, выдѣлился изъ щели и упалъ на ястребиный глазъ.

Онъ былъ открытъ, широко, широко открытъ, и я пришелъ въ ярость, увидѣвъ его. Я видѣлъ его совершенно явственно—это былъ тускло-голубой глазъ съ отвратительнымъ налетомъ, который заморозилъ кровь въ моихъ жилахъ, но я не видалъ ничего другого, ни чертъ его лица, ни его тѣла, потому что какъ бы по инстинкту я направилъ лучъ свѣта какъ разъ на проклятое пятно.

Ну, и что же, развѣ я вамъ не говорилъ, что то, что вы считаете сумасшествіемъ, есть лишь утонченность моихъ чувствъ? Я услышалъ тихій, глухой, быстрый звукъ, подобный тиканью карманныхъ часовъ, завернутыхъ въ вату. *Этотъ* звукъ я зналъ, отлично зналъ и его. Это билось сердце старика. Быстрый звукъ усилилъ мое бѣшенство, какъ звукъ барабаннаго боя усиливаетъ мужество солдата.

Но и тутъ я еще сдержался и продолжалъ стоять неподвижно. Я едва дышалъ. Фонарь застылъ въ моихъ рукахъ. Я пробовалъ, какъ упорно могу я устремлять лучъ свѣта на глазъ. А сердце все билось, эта дьявольская музыка все усиливалась. Съ каждымъ мигомъ звукъ дѣлался быстрѣе и быстрѣе, онъ дѣлался все громче и громче. *Надо думать*, что старикъ былъ испуганъ до послѣдней степени! Сердце билось все громче, говорю я, все громче съ каждымъ мигомъ!—Вы хорошо слѣдите за мной? Вѣдь я вамъ говорилъ, что я нервень: да, я нервень. И теперь, въ этотъ смертнй часъ ночи, посреди мертвой тишины стариннаго дома, этотъ странный шумъ исполнилъ меня непобѣдимымъ ужасомъ. Однако, еще нѣсколько минутъ я сдерживалъ себя и стоялъ спокойно. Но сердце билось все громче, все громче! Я думалъ, что оно разорвется. И тутъ новая забота охватила меня—этотъ звукъ могли услышать сосѣди! Часъ старика пришелъ! Съ громкимъ воплемъ я раскрылъ фонарь и бросился въ комнату. Онъ крикнулъ—крикнулъ только разъ. Въ одно мгновеніе я сошвырнулъ его на полъ и сдернулъ на него тяжелую постель. И тутъ я весело улыбнулся, видя, что дѣло идетъ такъ успѣшно. Но нѣсколько минутъ сердце продолжало биться, издавая заглушенный звукъ. Этотъ звукъ, однако, больше не мучилъ меня; его нельзя было услышать черезъ стѣны. Наконецъ онъ прекратился. Старикъ былъ мертвъ. Я сдвинулъ постель и осмотрѣлъ тѣло. Да, онъ былъ совершенно, совершенно мертвъ. Я приложилъ руку къ его сердцу и держалъ ее такимъ образомъ нѣсколько минутъ. Пульса не было. Онъ былъ совершенно мертвъ. Его глазъ не будетъ больше меня тревожить.

Если вы еще продолжаете думать, что я сумасшедшій, вы разубѣдитесь, когда я опишу вамъ всѣ мѣры предосторожности, которыя я предпринялъ, чтобы скрыть трупъ. Ночь уходила, и я работалъ быстро, но молчаливо.

Я вынулъ три доски изъ пола комнаты и положилъ

трупъ между драицами. Потомъ я опять укрѣпилъ доски такъ хорошо, такъ аккуратно, что никакой человѣческой глазъ—даже и *его*—не могъ бы открыть здѣсь ничего подозрительнаго. Ничего не нужно было замывать—ни одного пятна—ни одной капли крови. Я былъ слишкомъ предусмотрителенъ для этого.

Когда я все кончилъ, было четыре часа—на дворѣ было еще темно, какъ въ полночь. Въ ту самую минуту, когда били часы, съ улицы раздался стукъ въ наружную дверь. Съ легкимъ сердцемъ я пошелъ отворить ее,—чего мнѣ было бояться *теперь*? Вошли три человѣка и съ большой учтивостью представились мнѣ, называя себя полицейскими чиновниками. Одинъ изъ сосѣдей слышалъ ночью крикъ; возникло подозрѣнiе, не случилось-ли какого злого дѣла; полиція была объ этомъ извѣщена, и вотъ они (полицейскіе чиновники) были отправлены произвести обыскъ.

Я улыбался—*чего* мнѣ было бояться? Я попросилъ джентльменовъ пожаловать въ комнаты. Закричалъ это я самъ, сказалъ я, кричалъ во спѣ. А старика, сообщилъ я, нѣтъ дома, онъ на время уѣхалъ изъ города. Я провелъ посѣтителей по всему дому. Я просилъ ихъ обыскать все—обыскать *хорошенько*. Я провелъ ихъ, наконецъ, въ *его* комнату. Я показалъ имъ всѣ *его* драгоценности, они были цѣлы, и лежали въ своемъ обычномъ порядкѣ. Охваченный энтузіазмомъ своей увѣренности, я принесъ стулья въ эту комнату и пожелалъ, чтобы именно *здѣсь* они отдохнули отъ своихъ поисковъ, между тѣмъ какъ я самъ, въ дикой смѣлости полного торжества, поставилъ свой собственный стулъ какъ разъ на томъ самомъ мѣстѣ, подъ которымъ поконлось тѣло жертвы.

Полицейскіе чиновники были удовлетворены. Мои *манеры* убѣдили ихъ. Я чувствовалъ себя необыкновенно хорошо. Они сидѣли, и между тѣмъ какъ я весело отвѣчалъ, болтали о томъ-о-семь. Но прошло немного времени,

я почувствовалъ, что блѣднѣю, и искренно пожелалъ, чтобы они поскорѣе ушли. У меня заболѣла голова, и мнѣ показалось, что въ ушахъ моихъ раздался звонъ; но они все еще продолжали сидѣть, все продолжали болтать. Звонъ сталъ дѣлаться явственнѣе — онъ продолжался и дѣлался все болѣе явственнымъ: я началъ говорить съ усиленной развязностью, чтобы отдѣлаться отъ этого чувства, но звонъ продолжался съ неуклоннымъ упорствомъ — онъ возросталъ и, наконецъ, я понялъ, что шумъ былъ не въ моихъ ушахъ.

Не было сомнѣнія, что я *очень* поблѣднѣлъ; но я говорилъ все болѣе бѣгло, я все болѣе повышалъ голосъ. Звукъ возросталъ — что мнѣ было дѣлать? Это былъ *тихий, глухой, быстрый звукъ — очень похожий на тиканье карманныхъ часовъ, завернутыхъ въ вату*. Я задыхался — но полицейскіе чиновники не слышали его. Я продолжалъ говорить все быстрѣе — все болѣе порывисто; но шумъ упорно возросталъ. Я вскочилъ и сталъ разглагольствовать о разныхъ пустякахъ, громко и съ рѣзкими жестикуляціями; но шумъ упорно возросталъ. Почему они *не хотѣли* уходить? Тяжелыми, большими шагами я сталъ расхаживать взадъ и впередъ по комнатѣ, какъ бы возбужденный до бѣшенства наблюденіями этихъ людей — но шумъ упорно возросталъ. О, Боже! *что* мнѣ было дѣлать? Я кипятился — я приходилъ въ неистовство — я клялся! Я дергалъ стулъ, на которомъ сидѣлъ, и царапалъ имъ по доскамъ, но шумъ поднимался надо всеѣмъ и непрерывно возросталъ. Онъ становился все громче — громче — *громче!* А они все сидѣли и болтали и улыбались. Неужели они не слышали? Боже всемогущій! — нѣтъ, нѣтъ! Они слышали! — они подозрѣвали! — они *знали!* — они насмѣхались надъ моимъ ужасомъ! — я подумалъ это тогда, я такъ думаю и теперь. Но что бы ни случилось, все лучше, чѣмъ эта агонія! Я все могъ вынести, только не эту насмѣшку! Я не могъ больше видѣть эти лицемѣрные улыбки, чувствовалъ, что я долженъ

закричать или умереть!—и воть—опять!—слышите!—громче! громче! громче! *громче!*

„Негодяи!“ закричалъ я, „не притворяйтесь больше! Я сознаюсь въ убійствѣ!— сорвите эти доски!— вотъ здѣсь, здѣсь!—вы слышите, это бьется его проклятое сердце!“

## БЕРЕНИКА.

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum  
amicae visitarem, curas meas aliquan-  
tulum fore levatas.

*Ebn Zaiat \*)*

Несчастье—многообразно. Злополучие земли—многоформенно. Простираясь надъ гигантскимъ горизонтомъ, какъ радуга, оттѣнки его такъ же разнородны, какъ оттѣнки этой разноцвѣтной арки, и такъ-же отличительны, и такъ-же нераздѣльно слиты воедино. Простираясь надъ гигантскимъ горизонтомъ, какъ радуга! Какимъ образомъ изъ области красоты я заимствовалъ образъ чего-то отталкивающего? символъ умиротворенья превратилъ въ уподобленіе печали? Но какъ къ мірѣ нравственныхъ понятій зло<sup>и</sup> является послѣдствіемъ добра, такъ въ дѣйствительности изъ радости рождаются печали. Или воспоминаніе о благословенномъ прошломъ наполняетъ пыткой настоящее, или муки, терзающія *теперь*, коренятся въ безумныхъ восторгахъ, которые *могли быть*.

При крещеніи мнѣ дано было имя Эгей, своего фамильнаго имени я не буду упоминать. Но во всей странѣ нѣтъ

---

\*) Говорили мнѣ сотоварищи, что, если бы я посѣтилъ могилу подруги, я нѣсколько облегчилъ бы свои печали.

замка болѣе стариннаго, чѣмъ мои суровые сѣдые родовые чертоги. Нашъ родъ былъ названъ расой духовидцевъ; и такое мнѣніе, болѣе чѣмъ явственно, подтверждалось многими поразительными особенностями — характеромъ родового замка, фресками главной залы, обивкой спальных покоевъ, рѣзбой, украшавшей нѣкоторыя колонны въ фехтовальной залѣ, но въ особенности картинной галлерей, состоявшей изъ произведеній старинныхъ мастеровъ, внѣшнимъ видомъ бібліотеки, и, наконецъ, совершенно своеобразнымъ подборомъ книгъ.

Воспоминанія самыхъ раннихъ лѣтъ связаны въ моемъ умѣ съ этой комнатой и съ ея томами, о которыхъ я не хочу говорить подробенѣе. Здѣсь умерла моя мать. Здѣсь я родился. Но было бы напрасно говорить, что я не жилъ раньше, что душа моя не имѣла первичнаго существованія. Вы отрицаете это? не будемъ спорить. Будучи убѣжденъ самъ, я не стараюсь убѣждать другихъ. Есть, впрочемъ, одно воспоминаніе, которое не можетъ быть устранено, воспоминаніе о какихъ-то воздушныхъ формахъ, о безтѣлесныхъ глазахъ, исполненныхъ значительности, о звукахъ горестныхъ, но музыкальныхъ; воспоминаніе, подобное тѣни, смутное, измѣнчивое, неустойчивое, неопредѣленное; но подобное тѣни еще и въ томъ смыслѣ, что мнѣ невозможно уйти отъ него, пока будетъ свѣтить мой разумъ, распространяя вокругъ меня свой яркій солнечный свѣтъ.

Въ этой комнатѣ я родился. Пробудившись такимъ образомъ отъ долгаго сна, выйдя съ открытыми глазами изъ предѣловъ ночи, которая казалась небытіемъ, но не была имъ, я сразу вступилъ въ область сказочной страны, въ чертоги фантазіи, въ необычайный пріютъ отшельнической мысли и уединеннаго знанія. Удивительно ли, что я глядѣлъ вокругъ себя жадно ищущими, изумленными глазами, и провелъ свое дѣтство среди книгъ, и растратилъ свою юность въ мечтаніяхъ; но *удивительно* одно, — когда годы



уходили за годами, когда подкрался знойный полдень моей возмужалости и засталъ меня все еще сидящимъ въ старинномъ обиталищѣ моихъ предковъ, — *удивительно*, какъ сразу въ кипучихъ ключахъ моей жизни вода превратилась въ стоячую, и въ характерѣ моихъ мыслей, даже самыхъ обыкновенныхъ, настала полная и внезапная перемена. Явленія дѣйствительной жизни казались мнѣ снами, только снами, а зачарованныя мысли, навѣяныя царствомъ видѣній, сдѣлались, наоборотъ, существеннымъ содержаніемъ моей повседневной жизни, — больше того, въ нихъ, и только въ нихъ, была вся моя жизнь, съ ними слилась она въ одно цѣлое.

\* \* \* \* \*

Береника была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вмѣстѣ въ моемъ отцовскомъ замкѣ. Но какъ различно мы выросли — я, болѣзненный и погруженный въ меланхолію, она, легкая, веселая, и вся озаренная жизнерадостнымъ блескомъ; она вѣчно бродила по холмамъ, я сидѣлъ надъ книгами въ своей кельѣ; живя жизнью своего собственнаго сердца, я душой и тѣломъ отдавался самымъ труднымъ и напряженнымъ размышленіямъ, а она безпечально шла по жизненной дорогѣ, и не думала, что ей на пути можетъ встрѣтиться тѣнь, не заботилась о томъ, что часы безмолвно улетаели на своихъ вороновыхъ крыльяхъ. Береника! я произношу ея имя, Береника! и въ памяти моей, на сѣдыхъ рупнахъ, возникаютъ тысячи безпокойныхъ мыслей, какъ цвѣты, оживленные силою этого звука! О, какъ ярки очертанія ея образа передо мной, точно въ ранніе дни ея воздушной легкой радости! Красота роскошная и фантастическая! Сильфида среди кустарниковъ Аргейма! Наяда среди ея источниковъ! И потомъ, потомъ все превращается въ тайну, все смѣняется ужасомъ, становится сказкой, которая бы не должна была быть рассказанной. Болѣзнь, роковая болѣзнь, какъ самумъ, обрушилась на ея существо; и даже пока я смотрѣлъ на нее, духъ

перемѣны овладѣвалъ ею, застилалъ ея душу, измѣнялъ ея привычки, и нравъ, и самымъ незамѣтнымъ и страшнымъ образомъ нарушалъ даже цѣльность ея личности! Увы! бичъ пришелъ и ушелъ! а жертва—что съ ней случилось? Я больше не узнавалъ ея, не узнавалъ ея больше какъ Беренику!

Среди цѣлаго ряда болѣзней, причиненныхъ первичнымъ роковымъ недугомъ, который произвелъ такую страшную насильственную перемѣну во внутреннемъ и внѣшнемъ состояніи Береники, нужно прежде всего упомянуть о самой страшной и упорной, я разумѣю эпилептическіе припадки, нерѣдко кончавшіеся *летаргіей*—летаргіей необыкновенно походившей на полную смерть, причемъ въ большинствѣ случаевъ послѣ такого обмиранія она приходила въ себя рѣзко и внезапно. Въ то же время моя собственная болѣзнь—употребляю это наименованіе, потому что мнѣ было сказано, что иного названія не можетъ быть при опредѣленіи моего состоянія—моя собственная болѣзнь быстро разрослась, и въ концѣ-концовъ приняла форму мономаніи, совершенно новую и необычайную—съ каждымъ часомъ и съ каждой минутой она пріобрѣтала новую силу и, наконецъ, овладѣла мной съ непостижимой властью. Эта мономанія, если я долженъ такъ называть ее, состояла въ болѣзненной раздражительности тѣхъ способностей духа, которыя на языкѣ философскомъ называются *вниманіемъ*. Болѣе, чѣмъ вѣроятно, что меня не поймутъ; но я боюсь, что мнѣ, пожалуй, будетъ совершенно невозможно возбудить въ умѣ обыкновеннаго читателя вѣрное и точное представленіе о той нервной *напряженности интереса*, съ которой, въ моемъ случаѣ, силы мышленія (чтобы избѣжать языка технического) были поглощены созерцаніемъ даже самыхъ обыкновенныхъ предметовъ.

По цѣлымъ часамъ я размышлялъ, неутомимо устремивши внимательный взглядъ на какое-нибудь ничтожное изреченіе, помѣщенное на поляхъ книги, или на символи-

ческіе ієроглифы на обложкѣ; въ продолженіи большей части долгаго лѣтняго дня я бывалъ всецѣло погруженъ въ созерцаніе косої тѣни, падавшей причудливымъ узоромъ на полъ и на стѣны; цѣлыя ночи я наблюдалъ за колеблющимся пламенемъ свѣтильника, или за углями, догоравшими въ камелькѣ; цѣлые дни напролетъ я грезилъ о запахахъ какого-нибудь цвѣтка; монотоннымъ голосомъ я повторялъ какое-нибудь обыкновенное слово до тѣхъ поръ, пока звукъ отъ частаго повторенія не переставалъ наконецъ давать уму какое бы то ни было представленіе; я утрачивалъ всякое чувство движенія, или физическаго существованія, посредствомъ полнаго тѣлеснаго покоя, котораго я достигалъ долгимъ упорствомъ: таковы были немногія изъ самыхъ обыкновенныхъ и наименѣе вредныхъ уклоненій монахъ мыслительныхъ способностей, уклоненій, которыя, правда, не являются вполнѣ непримѣрными, но которыя отвергають всякій анализъ или объясненіе.

Однако, да не буду я ложно понять. Неестественное, напряженное, болѣзненное вниманіе, возбуждаемое такимъ образомъ предметами по своей сущности ничтожными, не должно быть смѣшиваемо съ задумчивостью, общею всѣмъ людямъ, въ особенности тѣмъ, кто одаренъ живымъ воображеніемъ. Это вниманіе не только не являлось, какъ можно предположить съ перваго раза, крайнимъ развитіемъ или преувеличеніемъ такой способности, но существенно отъ нея отличалось и имѣло свое первичное самостоятельное существованіе. Въ одномъ случаѣ мечтатель, или человѣкъ восторженный, будучи заинтересованъ предметомъ обыкновенно *не* ничтожнымъ, незамѣтно теряетъ изъ виду этотъ предметъ и погружается въ безбрежность выводовъ, намековъ и внушеній, изъ него проистекающихъ, такъ что въ концѣ подобнаго сна наяву, *нерѣдко переполненнаго чувственными наслажденіемъ, возбудителемъ*, первичная причина, обусловившая мечтательность, исчезаетъ и забывается окончательно. Въ моемъ случаѣ, первичный предметъ *по-*

стоянно былъ ничтожнымъ, хотя, черезъ посредство моего неестественно возбужденнаго зрительнаго воображенія, онъ пріобрѣталъ отраженную и нереальную важность. Выводовъ было немного, если только были какіе-нибудь выводы; и они упорно возвращались къ первоначальному предмету, какъ бы къ центру. Размышленія *никогда* не были радостными; и, послѣ того какъ мечты кончались, первопричина не только не терялась изъ виду, но возбуждала тотъ сверхъестественный преувеличенный интересъ, который являлся господствующимъ признакомъ моеѣ болѣзни. Словомъ, силы ума, совершенно своеобразно возбуждавшіяся во мнѣ, были, какъ я сказалъ, способностью *вниманія*, а не способностью *созерцательнаго размысленія*, какъ у обыкновеннаго мечтателя.

Книги, въ эту пору моеѣ жизни, если и не являлись одной изъ дѣйствительнѣйшихъ причинъ, обусловливавшихъ мое нездоровье, принимали во всякомъ случаѣ, какъ это легко понять, большое участіе въ проявленіи отличительныхъ признаковъ моеѣ болѣзни, будучи исполнены фантазій и нелогичностей. Я хорошо помню, среди другихъ, трактатъ благороднаго итальянца, Целія Секунда Куріона, „*De Amplitudine Beati Regni Dei*“; великое произведение блаженнаго Августина „Градъ Божій“, и сочиненіе Тертулліана „*De Carne Christi*“, гдѣ одна парадоксальная мысль: „*Mortuus est Dei filius; credibile est, quia ineptum est; et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile est*“ \*), стоила мнѣ цѣлыхъ недѣль трудолюбиваго и безплоднаго изслѣдованія.

Такимъ образомъ, мой разумъ, терявшій свое равновѣсіе только отъ соприкосновенія съ предметами незначительными, какъ бы имѣлъ сходство съ той океанической скалой, о которой говоритъ Птоломей Гефестіонъ, и которая, оставаясь неизблемой и нечувствительной къ людскому

---

\*) Умеръ Сынъ Божій; достойно вѣры есть, ибо неприемлемо; и, погребенный, воскресъ; достовѣрно есть, ибо невозможно.

неистовству, и къ еще болѣе бѣшеной ярости волнь и и вѣтровъ, содрогалась только отъ прикосновенія цвѣтка, называемаго Златоокомъ. И для наблюдателя невнимательнаго можетъ показаться несомнѣннымъ, что обусловленная злополучной болѣзью, переменна во *внутреннемъ* состояніи Береники должна была доставлять мнѣ много предложений для проявленія того напряженного и неестественнаго вниманія, природу котораго я объяснилъ съ нѣкоторымъ затрудненіемъ; однако, это совсѣмъ не такъ. Въ промежутки просвѣтленія, ея несчастіе, дѣйствительно, огорчало меня, и я, принимая глубоко къ сердцу это полное разрушеніе ея нѣжнаго прекраснаго существа, не могъ не размышлять горестно и неоднократно о тѣхъ удивительныхъ средствахъ, съ помощью которыхъ такъ внезапно произошла такая странная насильственная переменна. Но эти размышленія отнюдь не соприкасались съ основнымъ свойствомъ моего недуга, и отличались такимъ же характеромъ, какимъ они отличались бы при подобныхъ обстоятельствахъ у всякаго другого. Вѣрный своему собственному характеру, мой недугъ упивался менѣе важными, но болѣе поразительными измѣненіями, совершавшимися въ *физическомъ* существѣ Береники—особеннымъ и самымъ ужасающимъ искаженіемъ ея личнаго тождества.

Въ золотые дни ея несравненной красоты я никогда не любилъ ея, никогда. Въ странной аномаліи моего существованія, чувства *никогда не простекали* у меня изъ сердца, страсти *всегда возникали* въ моемъ умѣ. Въ бѣлесоватыхъ сумеркахъ ранняго утра—среди переплетенныхъ тѣней полуденнаго лѣса и въ ночномъ безмолвіи моей библіотеки—она мелькала предъ моими глазами, и я видѣлъ ее—не какъ Беренику, которая живетъ и дышетъ, но какъ Беренику сновидѣнія; не какъ существо земли, существо земное, но какъ отвлеченіе такого существа; не какъ предметъ преклоненія, но какъ предметъ изслѣдованія; не какъ источникъ любви, но какъ тему для самыхъ

отвлеченныхъ, хотя и безсвязныхъ умозрѣній. А теперь—теперь я содрогался въ ея присутствіи, я блѣднѣлъ при ея приближеніи; но, горько сожалѣя о ея полуразрушенномъ безутѣшномъ состояніи, я припомнилъ, что она долго любила меня, и, въ злую минуту, заговорилъ съ ней о бракѣ.

И, наконецъ, приблизился срокъ нашей свадьбы, когда, однажды, въ послѣобѣденный зимній часъ — въ одинъ изъ тѣхъ безвременно теплыхъ, тихихъ, и туманныхъ дней, которые ласково нянчатъ прекрасную Гальціону\*), — я сидѣлъ (и, какъ мнѣ казалось, сидѣлъ одинъ) въ углубленіи бібліотеки. Но, поднявъ глаза, я увидалъ, что предо мною стояла Береника.

Было ли это дѣйствіемъ моего возбужденнаго воображенія—или вліяніемъ туманной атмосферы — или это было обусловлено невѣрнымъ мерцаніемъ сумерекъ—или это обусловливалось волнистыми складками сѣрыхъ занавѣсей, упавшихъ вокругъ ея фигуры, — я не могу сказать, но ея очертанія колебались и были неопредѣленными. Она не говорила ни слова; и я — ни за что въ мірѣ не могъ бы я произнести ни слова. Леденящій холодъ пробѣжалъ по моему тѣлу; чувство нестерпимаго безпокойства оковало меня; жадное любопытство овладѣло моею душою; и, откинувшись въ креслѣ, не дыша и не двигаясь, я смотрѣлъ на нее пристальнымъ взглядомъ. Увы! она страшно исхудала, и ни слѣда ея прежняго существа нельзя было уловить во всѣхъ ея очертаніяхъ. Мои пылающіе взгляды упали, наконецъ, на ея лицо.

Высокій лобъ былъ очень блѣденъ и озаренъ чѣмъ-то необыкновенно мирнымъ; и волосы, когда-то черные, какъ смоль, падали отдѣльными прядями, и затѣняли безчисленными завитками впалые виски, и блистали теперь яркимъ

---

\*) Такъ какъ Юпитеръ въ продолженіи зимняго времени посылаетъ дважды по семи дней тепла, люди дали этой кроткой тихой порѣ названіе няни прекрасной Гальціоны. *Simonides*.

золотомъ, рѣзко дисгармонируя съ господствующей печальностью всего выраженія. Глаза были безжизненны, и тусклы, и казались лишенными зрачковъ. Я невольно содрогнулся и перевелъ свой взглядъ отъ ихъ стеклянной неподвижности къ тонкимъ искривленнымъ губамъ. Они раздвинулись; на нихъ отразилась улыбка, исполненная какой-то странной выразительности, и медленно передо мною открылись *зубы* этой измѣненной Береники. О, если бы Богу угодно было, чтобы я никогда ихъ не видалъ, или, увидѣвъ, тотчасъ умеръ!

\* \* \* \* \*

Звукъ затворяемой двери смутилъ меня, и, поднявъ глаза, я увидѣлъ, что Береника ушла изъ комнаты. Но изъ предѣловъ моего разстроеннаго мозга не вышелъ — увъ! — и не могъ быть удаленъ бѣлый и чудовищный *призракъ* зубовъ. Ни одной точки на ихъ поверхности — ни одной тѣни на ихъ эмали — ни одного отломка на ихъ краяхъ — ничего не упустила моя память, все замѣтилъ я въ этотъ краткій мигъ ея улыбки. Я видѣлъ ихъ *теперь* даже болѣе отчетливо, чѣмъ *тогда*. Зубы! — зубы! — они были здѣсь, и тамъ, и вездѣ, я ихъ видѣлъ передъ собой, я ихъ осязалъ; длинные, узкіе, и необыкновенно бѣлые, съ искривленными вокругъ нихъ блѣдными губами, какъ въ тотъ первый мигъ, когда они такъ страшно открылись. И вотъ неудержимое бѣшенство моей *мономаніи* пришло ко мнѣ, и я напрасно боролся противъ ея загадочнаго и неотвратимаго вліянія. Среди многочисленныхъ предметовъ виѣшняго міра я не находилъ ничего, что бы отвлекло меня отъ моей мысли о зубахъ. Я томился, я жаждалъ ихъ необузданно. Всѣ другіе предметы, всѣ разнородные интересы погасли въ этомъ единственномъ созерцаніи. Они — только они представлялись моимъ умственнымъ взорамъ, и въ своей единственной индивидуальности, они сдѣлались сущностью моей духовной жизни. Я смотрѣлъ на нихъ подъ разными углами. Я придавалъ имъ самое разнородное положеніе. Я наблюдалъ

ихъ отличительныя черты. Я останавливался взоромъ на ихъ особенностяхъ. Я подолгу размышлялъ объ ихъ формѣ. Я думалъ объ измѣненіи въ ихъ природѣ. Я содрогался, когда приписывалъ имъ, въ воображеніи, способность чувствовать и ощущать, способность выражать душевное состояніе даже независимо отъ губъ. О m-lle Салль прекрасно было сказано, что „*tous ses pas étaient des sentiments*“; относительно Береники я еще болѣе серьезно былъ убѣжденъ, что *toutes ses dents étaient des idées*. *Des idées!* — а, вотъ она, идиотская мысль, погубившая меня! *Des idées!* — а, такъ *поэтому-то* я жаждалъ ихъ такъ безумно! Я чувствовалъ, что только ихъ власть можетъ возвратити мнѣ миръ, вернувъ мнѣ разсудокъ.

И вечеръ надвинулся на меня — и потомъ пришла тьма, и помедлила, и ушла — и новый день забрезжилъ — и туманы второй ночи собрались вокругъ — и я все еще сидѣлъ недвижно въ этой уединенной комнатѣ — я все еще былъ погруженъ въ размышленія — и все еще *призракъ* зубовъ страшнымъ образомъ висѣлъ надо мной и тяготѣлъ, и съ отвратительной отчетливостію онъ какъ бы виталъ вездѣ кругомъ по комнатѣ среди измѣнчивой игры свѣта и тѣней. Наконецъ, въ мой сонъ ворвался вопль, какъ-бы крикъ испуга и ужаса, и потомъ, послѣ перерыва, послѣдовалъ гулъ смѣшанныхъ голосовъ, прерываемый глухими стонами печали или тревоги. Я поднялся съ своего мѣста и, распахнувъ одну изъ дверей бібліотеки, увидалъ въ прихожей служанку, всю въ слезахъ, которая сказала мнѣ, что Береники больше нѣтъ! Раннимъ утромъ она была застигнута эпилепсіей, и теперь, съ наступленіемъ ночи, могила ждала свою гостью, и всѣ приготовленія для похоронъ были уже окончены.

\* \* \* \* \*

Я увидалъ себя сидящимъ въ бібліотекѣ, и я опять сидѣлъ здѣсь одинъ. Я какъ-будто только что проснулся отъ смутнаго тревожнаго сна. Я зналъ, что была полночь,



и я отлично зналъ, что послѣ захода солнца Береника была погребена. Но относительно этого мрачнаго промежуточного періода у меня не было никакого положительнаго, или по крайней мѣрѣ никакого опредѣленнаго представленія. И однако же воспоминаніе о немъ было переполнено ужасомъ—ужасомъ тѣмъ болѣе ужаснымъ, что онъ былъ смутнымъ, и страхомъ еще болѣе страшнымъ въ силу своего уклончиваго смысла. Въ лѣтописи моего существованія была чудовищная страница, вся исписанная туманными, и гнусными, и непонятными воспоминаніями. Я старался распутать ихъ, напрасно; и время отъ времени, какъ-будто духъ отлетѣвшаго звука, въ моихъ ухахъ, казалось мнѣ, содрогался звенящій пронзительный крикъ рѣзкаго женскаго голоса. Я что-то сдѣлалъ—но что? Я спрашивалъ себя, громко повторяя этотъ вопросъ, и шепчущее эхо комнаты отвѣчало мнѣ— „Что“?

На столѣ около меня горѣла лампа; близь нея стоялъ маленькій ящикъ. Онъ ничѣмъ не былъ замѣчателенъ, и я часто видалъ его раньше, онъ принадлежалъ нашему домашнему врачу; но какъ онъ попалъ сюда, на мой столъ, и почему я содрогался, разглядывая его? Это было необъяснимо, и взоръ мой, наконецъ, случайно упалъ на страницу открытой книги, и на фразу, подчеркнутую въ ней. То были необыкновенныя и простыя слова поэта Ибнъ Зайата: — „*Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas*“. Почему же, когда я прочелъ ихъ, волосы стали дыбомъ у меня на головѣ, и кровь оледенѣла въ моихъ жилахъ?

Послышался легкій стукъ въ дверь библіотеки—и блѣдный, какъ выходецъ изъ могилъ, въ комнату на цыпочкахъ вошелъ слуга. Его глаза были дикими отъ ужаса, и, обращаясь ко мнѣ, онъ заговорилъ дрожащимъ, хриплымъ, и необыкновенно тихимъ голосомъ. Что говорилъ онъ?—я разслышалъ отдѣльные обрывки. Онъ говорилъ, что безумный крикъ возмущилъ безмолвіе ночи — что всѣ слуги

собрались—что въ направленіи этого звука стали искать; и тутъ его голосъ сдѣлался ужасающе-отчетливымъ, когда онъ началъ шептать мнѣ объ оскверненіи могилы—объ изуродованіи тѣла, закутаннаго въ саванъ, но еще дышущаго—еще трепещущаго—*еще живого!*

Онъ указалъ на мое платье; оно было обрызгано грязью и запачкано густой запекшейся кровью. Я не говорилъ ни слова, и онъ тихонько взялъ меня за руку; на ней были вдавленные слѣды человѣческихъ ногтей. Онъ обратилъ мое вниманіе на какой-то предметъ, прислоненный къ стѣнѣ. Я смотрѣлъ на него нѣсколько минутъ: это былъ заступъ. Съ крикомъ я бросился къ столу, и схватилъ ящикъ стоявшій на немъ. Но я не могъ его открыть; и, охваченный дрожью, я выпустилъ его изъ рукъ, онъ тяжело упалъ, и разбился на куски; и изъ него, съ металлическимъ звукомъ, покатались различные зубоврачебные инструменты, а среди нихъ тамъ и сямъ рассыпались по полу тридцать два небольшіе бѣлые кусочка, цвѣта слоновой кости.

---

## МОРЭЛЛА.

*Авто καθ'αυτο μεθ'αυτων, μεροειδης  
αυτη ου.*

Самъ, самимъ собою, вѣчно одинъ  
и единственный.

*Plato, Simpos.*

Съ чувствомъ глубокой и самой необыкновенной привязанности смотрѣлъ я на мою подругу Морэллу. Когда случай столкнулъ меня съ нею много лѣтъ тому назадъ, душа моя, съ первой нашей встрѣчи, зажглась огнемъ, котораго до тѣхъ поръ она никогда не знала; но то не былъ огонь Эроса, и горестно и мучительно было для меня, когда мнѣ постепенно пришлось убѣдиться, что я никакъ не могу опредѣлить необычайный характеръ этого чувства, или овладѣть его смутной напряженностью. Однако, мы встрѣтились; и судьба связала насъ передъ алтаремъ; и никогда я не говорилъ о страсти и не думалъ о любви. Тѣмъ не менѣе она избѣгала общества и, привязавшись всецѣло ко мнѣ, сдѣлала меня счастливымъ. Удивляться, это—счастье; мечтать, это—счастье.

Морэлла обладала глубокой ученостью. Я твердо убѣжденъ, что ея таланты были не заурядными — что силы ея ума были гигантскими. Я чувствовалъ это, и во многихъ отношеніяхъ сдѣлался ея ученикомъ. Однако, вскорѣ

я замѣтилъ, что она, быть-можетъ, въ силу своего Пресбургскаго образованія, нагромоздила передо мной цѣлый рядъ тѣхъ мистическихъ произведеній, которыя, обыкновенно, разсматривались какъ накипь первичной Германской литературы. Они, не могу себѣ представить почему, были предметомъ ея излюбленныхъ и постоянныхъ занятій — и если съ теченіемъ времени они сдѣлались тѣмъ же и для меня, это нужно приписать самому простому, но очень дѣйствительному, вліянію привычки и примѣра.

Во всемъ этомъ, если я не ошибаюсь, для моего разума представлялось малое поле дѣйствія. Мои убѣжденія, если я не утратилъ вѣрнаго о себѣ представленія, отнюдь не были основаны на идеалѣ, и, если только я не дѣлаю большой ошибки, ни въ моихъ поступкахъ, ни въ моихъ мысляхъ нельзя было бы найти какой-либо окраски мистицизма, отличавшаго книги, которыя я читалъ. Будучи убѣжденъ въ этомъ, я слѣпо отдался вліянію жены, и безъ колебаній вступилъ въ запутанную сферу ея занятій. И тогда — когда, склонившись въ раздумьи надъ отверженными страницами, я чувствовалъ, что отверженный духъ загорается во мнѣ — Морэлла клала на мою руку свою холодную руку, и собирала въ потухшей золѣ мертвой философіи нѣсколько глубокихъ загадочныхъ словъ, которыя своимъ многозначительнымъ смысломъ, какъ огненными буквами, запечатлѣвались въ моей памяти. И часы уходили за часами, я томился рядомъ съ ней, и впивалъ музыку ея голоса, пока, наконецъ, эта мелодія не окрашивалась чувствомъ страха, и тогда на мою душу упала тѣнь, и я блѣднѣлъ, и внутренно содрогался, внимая такимъ слишкомъ неземнымъ звукамъ. И восторгъ внезапно превращался въ ужасъ, и самое прекрасное дѣлалось самымъ отвратительнымъ, подобно тому, какъ Гинномъ превратился въ Геенну.

Было бы бесполезно устанавливать точный характеръ

тѣхъ изысканій, которыя, будучи навѣяны этими старинными томаами, являлись, въ теченіи такого долгаго времени, почти единственнымъ предметомъ моихъ бесѣдъ съ Морэллою. Люди, свѣдущіе въ томъ, что можетъ быть названо богословскою нравственностью, понимаютъ меня, а люди несвѣдущіе все равно поняли бы очень мало. Безумный Пантеизмъ Фихте; видопзмѣненная *Пиллуэтеобис* Пиагорейцевъ; и, прежде всего, ученіе о *Тождествѣ*, въ томъ видѣ, какъ его развиваетъ Шеллингъ, таковы были главныя исходныя точки разсужденій, представлявшія наибольшую заманчивость для богатой фантазіи Морэллы. Какъ мнѣ кажется, Локкъ дѣлаетъ вѣрное опредѣленіе личнаго тождества, говоря, что оно состоитъ въ самости разумнаго существа. То обстоятельство, что мы понимаемъ подъ личностью мыслящее существо, одаренное разумомъ, и что мышленіе постоянно сопровождается сознаніемъ, именно и дѣлаетъ насъ *нами самими*, отличая насъ этимъ отъ другихъ существъ, которыя мыслятъ, и давая намъ наше личное тождество. Но *principium individuationis*, т. е. представленіе о томъ тождествѣ, которое въ самой смерти остается или утрачивается не навсегда, было для меня, постоянно, вопросомъ высокаго интереса; не столько въ силу волнующей и сложной природы его послѣдствій, сколько въ силу той особенной возбужденности, съ которой Морэлла упоминала о немъ.

Однако настало время, когда таинственность, отличающая нравъ моей жены, стала угнетать меня, какъ чары колдовства. Я не могъ болѣе выносить прикосновенія ея блѣдныхъ пальцевъ, не могъ слышать грудныхъ звуковъ ея музыкальнаго голоса, видѣть блескъ ея печальныхъ глазъ. И она знала все это, но не упрекала меня; она какъ-будто сознавала мою слабость или мое безуміе, и, улыбаясь, говорила, что это судьба. Она, повидимому, знала также причину моего постепеннаго отчужденія отъ нея, причину, которая для меня самого осталась неизвѣстной;

но она не дѣлала никакого объясненія, никакого намека. И все же она была женщиной, и потому увядала съ каждымъ днемъ. Наконецъ, ярко-красныя пятна навсегда остановились на ея щекахъ, и голубыя вены выступили на чистой бѣлизнѣ ея лба; и иногда существо мое размягчалось, и вотъ на мгновеніе прониклось жалостью, но тотчасъ же я встрѣчалъ ея блестящій взглядъ, исполненный глубокаго значенія, и вотъ уже душа моя смутилась, и меня охватило неопредѣленное волненіе, подобное тому, которое испытываетъ человѣкъ, когда, охваченный головокруженіемъ, онъ смотритъ внизъ, въ какую-нибудь угрюмую и неизмѣримую пропасть.

Нужно ли говорить, что я жадно, съ страстнымъ нетерпѣніемъ, ждалъ того мгновенья, когда Морэлла умретъ? Я ждалъ; но хрупкій духъ цѣплялся за свою земную оболочку, долгіе дни, долгія недѣли, долгіе нестерпимые мѣсяцы, и, наконецъ, мои истерзанные нервы получили полную власть надъ моимъ разсудкомъ, и я приходилъ въ ярость при мысли объ отсрочкѣ и, затаивъ въ своемъ сердцѣ демона, проклиналъ дни и часы и горькія мгновенья, которыя какъ будто все удлинялись и удлинялись, по мѣрѣ того какъ нѣжная жизнь Морэллы все тускнѣла, точно тѣни умирающаго дня.

Но въ одинъ изъ осеннихъ вечеровъ, когда вѣтры безмолвно спятъ въ небесахъ, Морэлла подозвала меня къ своему изголовью. Надъ землей лежалъ густой туманъ, надъ водой блистало теплое сіянье, а въ лѣсу, среди пышной Октябрьской листвы, какъ-будто разсыпалась упавшая съ небеснаго свода многоцвѣтная радуга.

„Вотъ насталъ день дней,“ сказала она, когда я приблизился; „день всѣхъ дней — и для жизни и для смерти. Чудесный день для сыновей земли и жизни — и насколько болѣе чудесный для дочерей небесъ и смерти!“

Наклонившись къ ея лбу, я поцѣловалъ ее, и она продолжала:

„Я умираю, но я буду жить“.

„Морэлла!“

„Не было дня, когда бы ты могъ любить меня — но ту, кѣмъ ты въ жизни гнушался, ты въ смерти будешь обожать.“

„Морэлла!“

„Я говорю тебѣ, я умираю. Но во мнѣ таится залогъ той привязанности—о, какъ она ничтожна! — которую ты чувствовалъ по отношенію ко мнѣ, Морэллѣ. И когда мой духъ отойдетъ, начнетъ дышать ребенокъ — твой ребенокъ и мой, Морэллы. Но дни твои будутъ днями скорби, которая среди ощущеній длится болѣе всѣхъ, какъ среди деревьевъ дольше, чѣмъ всѣ, живетъ кипарисъ. Ибо часы твоего блаженства миновали; и нельзя дважды собирать въ жизни радость, какъ розы Пестума дважды въ году. Ты не будешь больше наслаждаться временемъ, какъ игрой, но, позабывъ о миртахъ и виноградникахъ, ты всюду на землѣ будешь влачить свой саванъ, какъ это дѣлаютъ Мусульмане въ Меккѣ.“

„Морэлла!“ вскричалъ я, „Морэлла! откуда знаешь ты это?“ но она отвернула отъ меня свое лицо, и легкій трепеть прошелъ по ея членамъ, и такъ она умерла, и я не слышалъ ея голоса больше никогда.

Но, какъ она предсказала, началъ жить ея ребенокъ, ея дочь, которой она дала рожденіе, умирая, и которая стала дышать лишь тогда, когда мать перестала дышать. И странно росла она, какъ внѣшнимъ образомъ, такъ и въ качествахъ своего ума, и велико было сходство ея съ усопшей, и я любилъ ее любовью болѣе пламенной, чѣмъ та любовь, которую, какъ думалъ я, возможно чувствовать къ кому-либо изъ обитателей земли.

Но лазурное небо этой чистой привязанности быстро омрачилось, и печаль, и ужасъ, и тоска, окутали его, какъ тучей. Я сказалъ, что ребенокъ странно выросталъ, какъ внѣшнимъ образомъ, такъ и въ качествахъ своего ума.

О, поистинѣ, страннымъ было быстрое развитіе ея тѣла, но страшными, о, страшными были взволнованныя мысли, которыя овладѣвали мной, когда я наблюдалъ за ея духовнымъ расцвѣтомъ. Могло ли это быть иначе, когда я каждый день открывалъ въ представленіяхъ ребенка зрѣлыя силы и способности женщины? когда слова, исполненныя опыта, нисходили съ младенческихъ устъ? и когда каждый часъ я видѣлъ, какъ въ ея большихъ, умозрительныхъ глазахъ блистала мудрость и горѣли страсти, достигшія срока? Когда, говоря я, все это сдѣлалось очевиднымъ для моихъ утраченныхъ чувствъ, когда я не могъ болѣе утаивать этого отъ собственной души, когда я не могъ отбросить отъ себя представленій, приводившихъ меня въ трепетъ, нужно ли удивляться, что въ мой умъ прокрались страшныя и безпокойныя подозрѣнія, что мысли мои вновь обратились съ ужасомъ къ зачарованнымъ сказкамъ и волнующимъ помысламъ моей погребенной Морэллы? Я утанилъ отъ людского любопытства существо, которое судьба мнѣ велѣла обожать, и въ строгомъ уединеніи моего жилища съ смертельной тоскою слѣдилъ за всѣмъ, что касалось возлюбленной.

И по мѣрѣ того, какъ уходили годы, и я глядѣлъ день за днемъ на это святое, и кроткое, и исполненное краснорѣчія лицо, и смотрѣлъ на эти созрѣвающія формы, день за днемъ я открывалъ новыя черты сходства между ребенкомъ и матерью, между печальной и умершей. И съ каждымъ часомъ эти тѣни сходства все темнѣли, становились все полнѣе и опредѣленнѣе, все болѣе смущали и ужасали своимъ видомъ. Если улыбка дочери была похожа на улыбку матери, это я еще могъ выносить; но я трепеталъ, видя, что это сходство было слишкомъ полнымъ *тождествомъ*, я не въ силахъ былъ видѣть, что ея глаза были глазами Морэллы; и, кромѣ того, они нерѣдко смотрѣли въ глубину моей души съ той же странной напряженностью мысли, которой были зачарованы глаза Морэллы. И въ



очертаніяхъ ея високаго лба, и въ локонахъ ея шелковистыхъ волосъ, и въ блѣдныхъ пальцахъ, которые она въ нихъ прятала, и въ печальной напѣвности ея рѣчей, и болѣе всего, — о, болѣе всего, въ словахъ и въ выраженіяхъ умершей, возрожденныхъ на устахъ любимой и живущей, я видѣлъ много того, что наполняло меня снѣдающею мыслью и ужасомъ, — давало пищу для червя, который *не хотѣлъ умереть*.

Такъ минули два пятилѣтія ея жизни, и дочь моя еще оставалась безымянной на землѣ. „Дитя мое“, и „любовь моя“, таковы были обычные наименованія, внушенныя чувствомъ отеческой привязанности, а строгая уединенность ея дней устраняла всѣ другія отношенія. Имя Морэллы умерло вмѣстѣ съ ней. Я никогда не говорилъ съ дочерью о ея матери; невозможно было говорить. И дѣйствительно, въ продолженіи короткаго періода своего существованія, она не получила никакихъ впечатлѣній отъ внѣшняго міра, исключая тѣхъ немногихъ, которыя были обусловлены тѣсными границами ея уединенности. Но, наконецъ, при моемъ нервномъ и возбужденномъ состояніи, обрядъ крещенія представился мнѣ какъ счастливое освобожденіе отъ ужасовъ моей судьбы. II у купели я колебался, какое выбрать ей имя. II цѣлое множество именъ, обозначающихъ мудрость и красоту, именъ древнихъ и новыхъ эпохъ, моей родной страны и странъ чужихъ, пришло мнѣ на память, вмѣстѣ съ многими, многими прекрасными именами, указывающими на благородство, и на счастье, и на благо. Что же подтолкнуло меня тогда возмущать память погребенной покойницы? Какой демонъ заставилъ меня произнести тотъ звукъ, который въ самомъ воспоминаніи всегда отгонялъ пурпурную кровь отъ висковъ къ сердцу? Какой злой духъ заговорилъ изъ потаенныхъ глубинъ моей души, когда подъ этими мрачными сводами, среди молчанія ночи, я прошепталъ святому человѣку это слово — Морэлла? Кто, какъ не демонъ, искажилъ черты лица моей дочери, и покрылъ

ихъ красками смерти, когда, дрогнувъ при этомъ едва уловимомъ звукѣ, она обратила свои блестящіе глаза отъ земли къ небу, и, упавъ, распростерлась на черныхъ плитахъ нашего фамильнаго склепа, отвѣтивъ— „Я здѣсь!“

Явственно, холодно, съ спокойной отчетливостью, упали въ мою душу эти звуки и, словно расплавленный свинець, понеслись со свистомъ въ предѣлахъ моего мозга. Уйдутъ года—года, но память объ этой эпохѣ останется навѣки! И не былъ я лишенъ цвѣтовъ и виноградныхъ лозъ — но цукута и кипарисъ затемняли меня своею тѣнью въ часы ночи и дня. И я не помнилъ ни времени, ни мѣста, и звѣзды моей судьбы поблекли на небесахъ, и потому земля потемнѣла, и всѣ земные образы проходили близь меня какъ улетающія тѣни, и среди нихъ я видѣлъ лишь одну—Морэллу. Вѣтры, прилетая съ небснаго свода, наполняли мой слухъ однимъ звукомъ, и рокочущія волны подернутаго рябью моря неизмѣнно шептали мнѣ — Морэлла. Но она умерла; и собственными руками я снесъ ее въ могилу; и засмѣялся долгимъ и горестнымъ смѣхомъ, когда увидалъ, что не осталось ни малѣйшихъ слѣдовъ отъ первой въ томъ склепѣ, гдѣ я схоронилъ вторую—Морэллу.

## ЭЛЕОНОРА.

Sub conservatione formae specificae salva anima \*).

*Raimundus Lullius.*

Я принадлежу къ семьѣ, отмѣтившей себя силой фантазіи и пламенностью страсти. Люди назвали меня безумнымъ, но это еще вопросъ, не составляетъ ли безуміе высшей способности пониманія, не обусловлено ли многое изъ того, что славно, и все то, что глубоко, болѣзненнымъ состояніемъ мысли, особымъ настроеніемъ ума, возбужденнаго въ ущербъ строгому разсудку. Тѣмъ, которые видятъ сны днемъ, открыто многое, что ускользаетъ отъ тѣхъ, кто спитъ и грезитъ только ночью. Въ своихъ туманныхъ видѣніяхъ они улавливаютъ проблески вѣчности, и трепещутъ, пробуждаясь и чувствуя, что они стояли на краю великой тайны. Мгновеньями они постигаютъ нѣчто изъ мудрости, которая есть добро, и еще болѣе изъ знанія, которое есть зло. Безъ руля и безъ компаса, проникаютъ они въ обширный океанъ „свѣта неизреченнаго“, и опять, на подобіе мореплавателей Нубійскаго географа, „*agressi sunt mare tenebrarum. quid in eo esset exploraturi*“ \*\*).

\*) При соблюденіи особой формы душа остается неприкосновенной.

\*\*\*) Вступаютъ въ море тьмы, чтобы изслѣдовать, что въ немъ.

Итакъ, пусть я безуменъ. Я долженъ, однако, сказать, что есть два вполне опредѣленные качества моего духовнаго существованія: совершенная ясность ума относительно воспоминаній, составляющихъ первую эпоху моей жизни, и неопредѣленные сомнѣнія относительно настоящаго и туманность воспоминаній, образующихъ вторую эру моего существованія. Вслѣдствіе этого, всему, что я буду говорить о раннемъ періодѣ, вѣрьте; что же касается разсказа о болѣе позднемъ времени, отнеситесь къ нему такъ, какъ это вамъ покажется необходимымъ; или усомнитесь въ немъ совершенно; или, если сомнѣваться вы не можете, будьте Эдипомъ этой загадки.

Та, которую я любилъ въ моей юности, и воспоминанія о которой я теперь спокойно и сознательно запечатлѣваю здѣсь, была единственной дочерью единственной сестры моей давно умершей матери. Имя ея было Элеонора. Мы всегда жили вмѣстѣ, подъ тропическимъ солнцемъ, въ Долинѣ Многоцвѣтныхъ Травъ. Ни одинъ путникъ никогда не приходилъ безъ руководителя въ эту долину, потому что она находилась далеко, за цѣпью гигантскихъ холмовъ, тяжело нависшихъ надъ нею отовсюду, и изгонявшихъ солнечный свѣтъ изъ самыхъ нѣжныхъ ея уголковъ. Ни дороги, ни тропинки не было вблизи; и, чтобы достичь нашего невозмутимаго жилища, нужно было съ силой прорваться черезъ листву многихъ тысячъ высокихъ деревьевъ, и умертвить, омрачить лучезарную славу миллионовъ душистыхъ цвѣтовъ. Такъ жили мы одни, я, моя двоюродная сестра, и ея мать, не зная ничего о мірѣ, лежавшемъ за предѣлами этой долины.

Изъ туманныхъ сферъ за горами, съ верхней крайней точки нашей области, пробиралась узкая и глубокая рѣка, свѣтлая, свѣтлѣе всего, исключая глазъ Элеоноры; скользя украдкой и изгибаясь разнообразными излучинами, она уходила, наконецъ, по узкому руслу въ тѣнь, и пряталась среди холмовъ еще болѣе туманныхъ, чѣмъ высоты, откуда

она брала свое начало. Мы назвали ее „Рѣкою Молчанія“, потому что въ ея теченіи было какъ-будто что-то умиротворяющее. Отъ ея ложа не исходило журчанья, и такъ спокойно, такъ кротко она ускользала впередъ, что лежавшіе глубоко на днѣ и подобныя жемчужинамъ маленькіе камешки, на которые мы любили смотрѣть, оставались совершенно недвижими, и всегда сохраняли свое прежнее положеніе, и каждый блисталъ неизмѣннымъ сіяніемъ.

Берега рѣки, и множества ослѣпительныхъ ручейковъ, скользившихъ извилистами лентами, и неслышно вливавшихся въ ея тихія воды, а равно и всѣ пространства, шедшія отъ берега въ глубину источниковъ вплоть до ложа жемчужныхъ камней, были покрыты невысокой зеленой травой; пышный коверъ изъ такой же короткой, густой, и совершенно ровной, травы, издававшей запахъ ванили, тянулся по всему пространству долины отъ рѣки до холмовъ, и всюду среди изумрудной зелени были разсыпаны желтые лютики, бѣлыя маргаритки, пурпурныя фіалки, и рубиново-красные златоцвѣты, и вся эта роскошь чудесной красоты громко говорила нашимъ сердцамъ о любви и величіи Бога.

Тамъ и сямъ надъ травой, подобно вспышкамъ причудливыхъ сновъ, возвышались группы сказочныхъ деревьевъ; ихъ тонкіе, легкіе стволы стояли не прямо, но дѣлали мягкій уклонъ, тянулись къ солнечному свѣту, который въ часъ полудня устремлялъ свои потоки къ средоточію долины. Деревесная ихъ кора была пещрена измѣчивымъ яркимъ сіяньемъ серебра и черни, и она была нѣжна, нѣжнѣе всего, исключая щекъ Элеоноры; и если бы не громадные листья изумруднаго цвѣта, трепетно простиравшіеся отъ ихъ вершинъ и игравшіе съ прихотливымъ вѣтеркомъ, эти деревья можно было бы принять за исполненныхъ Сирійскихъ змѣй, воздающихъ почести своему владыкѣ, солнцу.

Пятнадцать лѣтъ, рука съ рукой, бродили мы по этой

долинѣ, Элеонора и я, прежде чѣмъ любовь вошла въ наши сердца. Это случилось вечеромъ, на исходѣ третьяго пятилѣтія ея жизни, и четвертаго пятилѣтія моеѣ, когда мы сидѣли, обнявшись другъ съ другомъ, подъ вѣтвями деревьевъ, похожихъ на змѣй, и смотрѣли на отраженья нашихъ лицъ въ водахъ Рѣки Молчанія. Мы не говорили ни слова на исходѣ этого чуднаго дня, и когда вспыхнуло новое утро, мы говорили мало и дрожащимъ голосомъ. Изъ этихъ волнъ мы вызвали бога Эроса, и вотъ мы чувствовали, что онъ зажегъ въ насъ пламенные души нашихъ предковъ. Страсти, отличавшія нашъ родъ въ теченіи цѣлыхъ столѣтій, бурно примчались вмѣстѣ съ фантазіями, сдѣлавшими его также знаменитымъ, и повѣяли упоительнымъ благословеніемъ надъ Долиной Многоцвѣтныхъ Травъ. Все кругомъ перемѣнилось. Странные блестящіе цвѣты, имѣющіе форму звѣздъ, вспыхнули на деревьяхъ, гдѣ до тѣхъ поръ никогда не виднѣлось никакихъ цвѣтовъ. Глубже сдѣлались оттѣнки зеленого ковра, и, когда одна за другою исчезли бѣлыя маргаритки, на ихъ мѣсто десятками выросли рубиново-красные златоцвѣты. И жизнь задрожала повсюду, гдѣ мы ступали, потому что стройный фламинго, до тѣхъ поръ никогда невиданный нами, появился, окруженный веселыми свѣтлыми птицами, и развернулъ свои алыя крылья. Золотыя и серебряныя рыбы стали плавать и мелькать въ рѣкѣ, отъ ложа которой, мало-по-малу, послышался ропоть, и онъ таялъ и росъ, и, наконецъ, это журчанье сложилось въ колыбельную пѣсню, нѣжнѣй, чѣмъ Эолова арфа, гармоничнѣе всего, исключая голоса Элеоноры. И огромное облако, за которымъ мы долго слѣдили въ области Геспера, выплыло оттуда, все сіяя червленымъ золотомъ, и, мирно вставъ надъ нами, день за днемъ оно опускалось все ниже и ниже, пока, наконецъ, его края не зацѣпились за вершины горъ, превративъ ихъ туманы въ блестящіе покровы, и заключивъ насъ какъ бы навсегда въ магическую тюрьму величія и пышности.

Красота Элеоноры была красотой Серафима; но то была дѣвушка безхитростная и невинная, какъ ея недолговѣчная жизнь среди цвѣтовъ. Никакимъ лукавствомъ не таила она огни любви, который вспыхнуть въ ея душѣ, и вмѣстѣ со мною она раскрывала самыя потаенныя ея уголки, межъ тѣмъ какъ мы бродили по Долинѣ Многоцвѣтныхъ Травъ, и говорили о великихъ перемѣнахъ, недавно происшедшихъ здѣсь.

Но, однажды, вся въ слезахъ, она сказала о грустной перемѣнѣ, которая должна постигнуть человѣчество, и съ тѣхъ поръ она уже не разлучалась съ этой скорбной мыслию, вводя ее во всѣ наши бесѣды, подобно тому какъ въ пѣсняхъ Ширазскаго поэта одни и тѣ же образы повторяются снова и снова въ каждой трепетно-чуткой фразѣ.

Она видѣла, что Смерть отмѣтила ее своимъ перстомъ— что, подобно однодневкѣ, она была создана неподражаемо-красивой лишь для того, чтобъ умереть; но ужасъ могилы заключался для нея только въ одной мысли, которую она открыла мнѣ однажды, въ вечернихъ сумеркахъ, на берегахъ Рѣки Молчанія. Она печалилась при мысли, что, сгорнивъ ее въ Долинѣ Многоцвѣтныхъ Травъ, я навсегда покину эти блаженныя мѣста, и отдамъ свою любовь, теперь такъ страстно посвящаемую ей, какой-нибудь дѣвушкѣ изъ того чужого и будничнаго міра. И я стремительно бросался къ ногамъ Элеоноры, и произносилъ обѣтъ передъ ней и передъ небесами, клялся, что никогда не соединюсь бракомъ съ какой-либо дочерью Земли—что я ничѣмъ не измѣню ея дорогой памяти, или воспоминанію о томъ благоговѣйномъ чувствѣ, которое она внушила мнѣ. И я взывалъ къ Великому Владыкѣ Міра во свидѣтельство благочестивой торжественности моего обѣта. И проклятіе, которое должно было истекать отъ *Него* и отъ нея, отъ святой, чье жилище будетъ въ Эдемѣ, то страшное проклятіе, которое должно было пасть на мою голову, если

бы я оказался измѣнникомъ, было сопряжено съ такой ужасной карой, что я не рѣшаюсь теперь говорить о ней. И свѣтлые глаза Элеоноры еще болѣе свѣтлѣли при моихъ словахъ; и она вздохнула съ облегченіемъ, какъ - будто смертельная тяжесть спала съ ея груди; и она затрепетала и горько заплакала; но приняла мой обѣтъ (что была она, какъ не ребенокъ?), и легко ей было лечь на ложе смерти. И немного дней спустя, она сказала мнѣ, спокойно умирая, что въ виду всего, что сдѣлалъ я для умиротворенія ея души, она будетъ послѣ смерти незримымъ духомъ бодрствовать надо мной, и, если это будетъ ей доступно, въ видимой формѣ станетъ возвращаться ко мнѣ въ часы ночи; но, если это не во власти блаженныхъ душъ, она мнѣ будетъ хотя давать частыя указанія на свою близость — обратившись ко мнѣ, будетъ вздыхать въ дуновеніи вечерняго вѣтра, или наполнить воздухъ, которымъ я дышу, благоуханіемъ изъ небесныхъ каминовъ. И съ этими словами на устахъ она разсталась съ своею непорочною жизнью, кладя предѣлъ первой порѣ моего бытія.

Вотъ, все, что я сказалъ, я говорилъ истинно. Но, когда я прохожу по путямъ, которые разстилаетъ Время, когда я переступаю черезъ преграду, созданную смертью моею возлюбленной, и приближаюсь ко второй порѣ моего существованія, я чувствую, что тѣни начинаютъ окутывать мой мозгъ, и я не вполне довѣряю моей памяти. Но буду продолжать. Годы шли тяжело за годами, а я все еще жилъ въ Долинѣ Многоцвѣтныхъ Травъ; но вторичною переменой было застигнуто все кругомъ. Цвѣты, похожіе на звѣзды, спрятались въ стволы деревьевъ, и больше не появлялись. Поблѣднѣли отѣнки зеленого ковра; и, одинъ за другимъ, рубиново-красные златоцвѣты увяли; и, вмѣсто нихъ, десятками, выросли темныя фіалки, они глядѣли, какъ глаза, угрюмо хмурились и плакали, покрытыя росой. И Жизнь отошла отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ мы ступали; потому что стройный фламинго уже не развертывалъ свои алыя крылья, но



вмѣстѣ съ веселыми свѣтлыми птицами грустно покинулъ долину и скрылся въ холмахъ. И золотыя и серебряныя рыбы уплыли сквозь ущелье въ самый далекій конецъ нашей области и не мелькали больше въ водахъ чистой рѣки. И колыбельная пѣсня, которая была нѣжнѣй, чѣмъ Эолова арфа, и мелодичнѣе всего, исключая голоса Элеоноры, утихла, замерла, и ропотъ волнъ становился все глуше и глуше, и наконецъ рѣка опять окуталась своимъ прежнимъ торжественнымъ молчаніемъ; и тогда огромное облако тронулось, и, оставляя вершинамъ горъ сумракъ прежнихъ тумановъ, оно возвратилось къ области Геспера, и унесло всю свою славу величія и пышности отъ Долины Многоцвѣтныхъ Травъ.

Но обѣщанія Элеоноры не были забыты; потому что я слышалъ бряцанье кадилницъ, колебавшихся въ рукахъ ангеловъ; и священныя благоуханья потоками плыли всегда надъ долиной; и въ часы одиночества, когда тяжело билось мое сердце, ко мнѣ прилеталъ легкій вѣтеръ и лънулъ къ моему лицу дуновеніемъ, наполненнымъ нѣжными вздохами; и часто воздухъ ночи былъ исполненъ невнятнаго ропота; и разъ—о, только разъ!—я былъ пробужденъ ото сна, подобнаго сну смерти, почувствовавъ, что призрачныя губы прильнули къ моимъ.

Но, несмотря на все это, пустота моего сердца не могла быть наполнена. Я томился жаждой любви, которая прежде такъ всецѣло владѣла моею душой. Наконецъ, долина стала мучить меня воспоминаніями объ Элеонорѣ, и я навсегда покинулъ ее для суеты и бурныхъ ликованій міра.

\* \* \* \* \*

Я очутился въ странномъ городѣ, гдѣ все клонилось къ тому, чтобы изгнать изъ моихъ воспоминаній нѣжные сны, которые мнѣ такъ долго снились въ Долинѣ Многоцвѣтныхъ Травъ. Великолѣпіе пышнаго двора, и упоительный звонъ оружія, и ослѣпительная красота женщинъ, все это смутило и опьянило меня. Но душа моя все еще оста-

валась вѣрной своимъ обѣтамъ, и указанія на близость Элеоноры все еще продолжали являться въ часы ночного безмолвія. Но вотъ эти откровенія внезапно прекратились; и міръ для меня окутался тьмою; и я былъ испуганъ жгучими мыслями, овладѣвшими мною—чрезвычайными искушеніями, приступившими ко мнѣ; ибо издалека, изъ далекой неизвѣстной страны, къ веселому двору короля, гдѣ я служилъ, прибыла дѣвушка, и предъ ея красотой мгновенно пало мое отступническое сердце — къ ея подножію склонился я безъ колебаній, съ самымъ страстнымъ, съ самымъ низкимъ обожаніемъ. И правда, что могла значить моя страсть къ юной дѣвушкѣ долины передъ безумствомъ пламенныхъ чувствъ, передъ изступленнымъ восторгомъ обожанія, съ которыми я излилъ всю свою душу въ слезахъ у ногъ воздушной Эрменгардь?—О, прекрасна, какъ ангелъ прекрасна была Эрменгардь! и ни о чемъ я больше не могъ подумать. — О, чудесна, какъ ангелъ чудесна была Эрменгардь! и когда я взглянулъ глубоко въ ея глаза, исполненные напоминаній, я думалъ только о нихъ — и о ней.

Я обвѣнчался; — не страшился я проклятія, которое самъ призывалъ; и горечь его не посѣтила меня. И разъ — одинъ лишь разъ въ ночномъ безмолвіи, ко мнѣ донеслись черезъ оконную рѣшетку нѣжные вздохи, когда-то посѣщавшіе меня; и они слились вмѣстѣ, образуя родной чарующій голосъ, который говорилъ:

„Спи съ миромъ!—надо всѣмъ царить, всѣмъ править Духъ Любви, и, отдавъ свое страстное сердце той, чье имя Эрменгардь, ты получилъ отпущеніе отъ своихъ обѣтовъ предъ Элеонорой, въ силу рѣшеній, которыя тебѣ откroются, когда ты будешь на Небесахъ“.

---

## СВИДАНІЕ.

О, я не замедлю! Послушай. Постой.  
Мы встрѣтимся вмѣстѣ въ долину пустой.

*Похоронная пѣнь, написанная Генри Кин-голь, епископомъ Честерскимъ, на смерть своей жены.*

О, злосчастный и таинственный человѣкъ! — завлеченный въ лучезарность своего собственного воображенія, и стогрѣвшій въ огнѣ своей собственной молодости! Опять я въ мысляхъ вижу тебя! Еще разъ твой призракъ возникъ передо мною! — не такъ — о, не такъ, какъ ты предстаешь въ холодной юдоли и тѣни — но такимъ, какимъ бы ты *долженъ былъ быть* — предавая всю жизнь пышному созерцанію въ этомъ городѣ туманныхъ видѣній, твоей собственной Венеціи — которая есть излюбленный звѣздами Элизіумъ моря, и Палладовскіе дворцы которой съ глубокимъ и горькимъ значеніемъ глядятъ своими широкими окнами внизъ на тайны ея безмолвныхъ водъ. Да! повторяю — какимъ бы ты *долженъ былъ быть*. Есть конечно иные міры, кромѣ этого — иныя мысли, кромѣ мыслей толпы — иныя умозрѣнія, кромѣ умозрѣній софистовъ. Кто же можетъ призвать тебя къ отвѣту за твои поступки? кто осудитъ тебя за твои часы, полные видѣній, кто презрительно скажетъ, что бесплодно была растрачена жизнь, которая лишь была черезъ края избыткомъ твоей нескончаемой энергіи?

Это было въ Венеціи, подъ крытымъ сводомъ, называемымъ *Ponte dei Sospiri* — въ третій или въ четвертый разъ встрѣтилъ я того, о комъ говорю. Лишь какъ смутное воспоминаніе встаютъ въ моей памяти обстоятельства этой встрѣчи. Но я помню—о, какъ бы могъ я это забыть? — глубокую полночь, Мостъ Вздоховъ, женскую красоту, и Генія Романа, возникавшаго то тутъ, то тамъ, на узкомъ каналѣ.

Была ночь, необыкновенно мрачная. Большіе часы на Пьяццѣ возвѣстили своимъ звономъ пятый часъ Итальянскаго вечера. Скверъ Колоколни былъ безмолвенъ и пустыненъ, и огни въ старомъ Герцогскомъ Дворцѣ быстро погасали. Я возвращался домой съ Пьяцетты по Большому Каналу, но, когда моя гондола была противъ устья канала Св. Марка, женскій голосъ изъ его углубленій внезапно ворвался въ ночь, безумнымъ, истерическимъ, продолжительнымъ крикомъ. Я вскочилъ, пораженный этимъ крикомъ; а гондольеръ, выпустивъ весло, потерялъ его въ непроглядной тьмѣ, и, не имѣя никакой надежды найти его, мы были предоставлены теченію потока, вливающагося здѣсь изъ Большого Канала въ меньшій. Какъ нѣкій огромный чернокрылый кондоръ, мы медленно устремлялись теперь къ Мосту Вздоховъ, какъ вдругъ тысячью факеловъ, всыхнувшихъ въ окнахъ и по лѣстницамъ Герцогскаго Дворца, этотъ глубокій мракъ былъ сразу превращенъ въ синевато-багровый неестественный день.

Ребенокъ, выскользнувъ изъ рукъ своей матери, упалъ изъ верхняго окна высокаго зданія въ глубокій и смутный каналъ. Невозмутимыя воды спокойно сомкнулись надъ своей жертвой; и, хотя въ виду была лишь моя гондола, уже нѣсколько отважныхъ пловцовъ были въ потокѣ, и тщетно отыскивали на его поверхности сокровище, которое могло быть найдено, увы! только въ глубинѣ. На широкихъ черныхъ мраморныхъ плитахъ, у входа во дворецъ, въ нѣсколькихъ шагахъ надъ водой, стояла фигура, ко-

торую никто из видѣвшихъ ее тогда не могъ забыть съ тѣхъ поръ. Это была маркеза Афродита — божество всей Венеціи—веселая изъ веселыхъ—самая очаровательная тамъ, гдѣ всѣ были красивы—но еще и юная жена престарѣлаго интригана Ментони, и мать прекраснаго ребенка, перваго и единственнаго, который теперь, глубоко подъ угрюмой водной поверхностью, съ сердечною горестью думалъ о ея нѣжныхъ ласкахъ, и всѣми своими крошечными силами старался выговорить ея имя.

Она стояла одна. Ея маленькія, обнаженныя, серебристыя ноги сверкали на черномъ мраморѣ. Ея волосы, лишь на половину освобожденные отъ балльныхъ украшеній, нѣсколькими кругами вились среди алмазнаго дождя вокругъ ея классической головы, локонами, подобными лепесткамъ молодого гіацинта. Бѣлоснѣжный и подобный газу покровъ былъ, повидимому, единственной одеждой, окутывавшей ея нѣжныя формы; но лѣтній полнотный воздухъ былъ жаркій, удушливый, и тяжелый, и ни одно движеніе въ этомъ призракѣ, подобномъ изваянью, не шевелило складокъ воздушнаго одѣянія, облекавшаго ее, какъ тяжелыя мраморныя складки облекаютъ Ниобею. Но—какъ это ни странно!—ея большіе блестящіе глаза были устремлены не на могилу, поглотившую ея лучезарнѣйшее упованіе—они были обращены въ совершенно другую сторону. Тюрьма Старой Республики представляетъ изъ себя, какъ я думаю, самое величественное зданіе во всей Венеціи; но какимъ образомъ эта женщина могла такъ пристально глядѣть на него, когда внизу, у ногъ ея, лежалъ, задыхаясь, ея родной ребенокъ? И притомъ же эта темная мрачная ниша зіяетъ какъ разъ противъ окна ея комнаты — что же такое могло быть въ ея тѣняхъ, въ ея архитектурѣ, въ ея обвитыхъ плющомъ торжественныхъ карнизахъ — на что Маркеза ди Ментони не дивилась бы тысячу разъ прежде? Безсмыслица! — Кто не знаетъ, что въ такія минуты, какъ эта, глазъ, подобно разбитому зеркалу, умножаетъ образы своей печали, и ви-

дять въ многочисленныхъ отдаленныхъ мѣстахъ ту боль, которая вотъ здѣсь подъ рукой.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Маркезы, выше, подъ сводомъ шлюзового затвора, стоялъ, въ парадной одеждѣ, самъ Ментони, подобный Сатиру. Онъ былъ занятъ какъ разъ игрой на гитарѣ и, повидимому, смертельно *скучалъ*, когда время отъ времени онъ отдавалъ тѣ или инья распоряженія относительно того, гдѣ искать ребенка. Ошеломленный и полный страха, я не имѣлъ силы сѣсть, и какъ всталъ, впервые услышавши крикъ, такъ и продолжалъ стоять, выпрямившись, и долженъ былъ представляться глазамъ этой взволнованной группы людей зловѣщимъ призрачнымъ видѣніемъ, въ то время какъ съ блѣднымъ лицомъ и застывшими членами я плылъ въ этой похоронной гондолѣ.

Всѣ усилія оказались тщетными. Многіе изъ тѣхъ, которые искали съ наибольшимъ рвеніемъ; ослабили свои усилія и предалися мрачной печали. Повидимому, для ребенка оставалось очень мало надежды (насколько, значить, меньше для матери!), какъ вдругъ, изнутри этой темной ниши, которая, какъ я сказала, составляла часть Старой Республиканской тюрьмы, и находилась противъ рѣшетчатого окна Маркезы, въ полосу свѣта выступила закутанная въ плащъ фигура, и, помедливъ мгновенье на краю головокружительнаго спуска, стремительно ринулась въ каналъ. Когда мгновение спустя этотъ человекъ стоялъ на мраморныхъ плитахъ рядомъ съ Маркезой, держа въ своихъ рукахъ еще живого, еще дышущаго ребенка, его плащъ, намокшій и отяжелѣвшій, разстегнулся и, складками упавъ вокругъ его ногъ, обозначилъ передъ пораженными изумленіемъ зрителями стройную фигуру юноши, имя котораго гремѣло тогда въ большей части Европы.

Ни слова не вымолвилъ спаситель. Но Маркеза! Она теперь схватить ребенка — она прижметъ его къ своему сердцу—она вся прильнетъ къ его маленькому тѣльцу, и

задушить его своими ласками. Увы! *чужія* руки взяли его у чужеземца — *чужія* руки унесли его прочь, незамѣтно унесли его далеко, во дворецъ. А Маркеза! Ея губы—ся прекрасныя губы дрожать; глаза ея наполнились слезами—эти глаза, „нѣжные и какъ бы состоящіе изъ влаги“, подобно аканту, о которомъ говоритъ Плиній. Да! глаза ея наполнились слезами—и вотъ въ ней дрогнула душа, и вся она затрепетала, и жизнью зажглось изваяніе. Мы внезапно увидѣли, какъ блѣдный мраморъ лица, и выпуклость мраморной груди, и даже бѣлизна мраморныхъ ногъ, все покрылось воздушнымъ налетомъ неудержимаго румянца; и легкій трепетъ пробѣжалъ по всему ея нѣжному тѣлу, какъ легкій вѣтерокъ въ Неаполѣ трепещетъ въ травѣ вокругъ пышныхъ серебряныхъ лилій.

Почему *должна* была эта женщина вспыхнуть? На этотъ вопросъ нѣтъ отвѣта — здѣсь возможно лишь одно объясненіе, что, охваченная лихорадочной поспѣшностью и испугомъ материнскаго сердца, она не позаботилась, оставляя свой будуаръ, спрятать въ туфли свои крошечныя ноги, и совѣмъ забыла накинуть на свои Венеціанскія плечи приличествующую имъ накидку. Что другое могло заставить ее такъ вспыхнуть? — и зажечь эти безумные призывные глаза?—и такъ необычно взволновать эту трепетную грудь?—и заставить такъ судорожно сжаться эту дрожащую руку?—эту руку, которая случайно упала на руку чужеземца, когда Ментони вернулся во дворецъ. Что могло заставить ее такъ тихо — такъ необыкновенно тихо произнести въ торопливомъ прощаніи эти непонятныя слова: „Ты побѣдилъ“, сказала она, или это ропотъ воды обманулъ меня; „ты побѣдилъ — спустя часъ послѣ восхода солнца—мы встрѣтимся — да будешь такъ“.

\* \* \* \* \*

Смятенъе улеглось, огни во дворцѣ погасли, и чужеземецъ, котораго я теперь узналъ, стоялъ одинъ на мраморныхъ плитахъ. Онъ дрожалъ въ непостижимомъ воз-



бужденіи, и осматривался кругомъ, ища гондолы. Я не могъ не предложить ему свою, и онъ съ учтивостью принялъ мое приглашеніе. Доставъ у шлюзовъ затвора весло, мы направились вмѣстѣ къ его палаццо, между тѣмъ онъ быстро овладѣлъ собой, и началъ говорить о нашемъ прежнемъ мимолетномъ знакомствѣ, повидимому, самымъ сердечнымъ образомъ.

Есть предметы, на которыхъ я съ большимъ удовольствіемъ останавливаюсь подробно. Наружность чужеземца — да будетъ мнѣ позволено такъ называть того, кто былъ чужеземцемъ и для всего міра — наружность чужеземца является однимъ изъ такихъ предметовъ. Росту онъ былъ скорѣе ниже, чѣмъ выше средняго, хотя были мгновенья напряженной страсти, когда онъ буквально *выросталъ*, и опровергалъ такое утвержденіе. Воздушная тонкая соразмѣрность его лица указывала скорѣй на способность къ тому проворству, которое онъ выказалъ у Моста Вздоховъ, нежели на ту Геркулесовскую силу, которую онъ, какъ это было извѣстно, легко обнаруживалъ при обстоятельствахъ, сопровождавшихъ болѣе крайней опасностью. Ротъ и подбородокъ божества — совсѣмъ особые, безумные, большіе, какъ бы созданные изъ влаги, глаза, тѣни которыхъ мѣнялись отъ свѣтло-каряго цвѣта до напряженно-блистательнаго агата — и пышные вьющіеся черные волосы — и свѣтившійся изъ-подъ нихъ необыкновенно широкій лобъ цвѣта слоновой кости — таковы были черты его лица, столь классически-правильныя, что я никогда не видалъ такихъ, исключая, быть-можетъ, мраморныхъ чертъ Императора Коммода. И однако же его лицо было однимъ изъ тѣхъ, которыя каждый видѣлъ, въ извѣстную пору своей жизни, и не встрѣчалъ потомъ никогда. Въ немъ не было никакого особеннаго — прочно устѣновившагося господствующаго выраженія, которое могло бы запастъ въ память; лицо едва увидѣнное и сейчасъ же забытое — но забытое съ какимъ-то смутнымъ и никогда не прекращающимся жела-



ніемъ снова вызвать его въ умѣ. Не то, чтобы духъ каждой бѣглої вспышки страсти не оставлялъ, въ ту или иную минуту, своего явственнаго образа на зеркалѣ этого лица—нѣтъ, но это зеркало, какъ зеркало, не удерживало никакого слѣда страсти, когда страсть уходила.

Когда я прощался съ нимъ въ ночь происшествія, онъ попросилъ меня, какъ мнѣ показалось, очень настойчиво, зайти къ нему на другое утро *очень* рано. Вскорѣ послѣ восхода солнца я былъ, согласно съ этимъ, у его въ палатцу, у одного изъ тѣхъ огромныхъ, исполненныхъ мрачной, но фантастической пышности, зданій, которыя высятся надъ водами Большого Канала по близости отъ Ріальто. По широкой вьющейся витой лѣстницѣ, украшенной мозаиками, меня провели въ покои, безпримѣрная пышность которыхъ, ярко блеснувъ сквозь открытую дверь, ослѣпила и опьянила меня своею роскошью.

Я зналъ, что мой знакомый былъ богатъ. Молва гласила о его богатствахъ въ такихъ выраженіяхъ, которыя я даже дерзалъ считать смѣшнымъ преувеличеніемъ. Но, осматриваясь теперь кругомъ, я не могъ допустить мысли, чтобы у какого-нибудь частнаго лица въ Европѣ хватило средствъ на поддержаніе такого царственнаго великолѣпія, какое искрилось и блистало кругомъ.

Хотя, какъ я сказалъ, солнце уже взошло, комната была еще роскошно освѣщена искусственнымъ свѣтомъ. Я заключилъ изъ этого, а также изъ истощеннаго вида моего друга, что онъ совсѣмъ не ложился спать въ эту ночь. Архитектура и украшенія комнаты свидѣтельствовали о явномъ намѣреніи ослѣплять и изумлять. Весьма мало было обращено вниманія на соблюденіе того, что на языкѣ техническомъ называется *стильностью*, или на соблюденіе цѣльности національнаго вкуса. Глазъ переходилъ отъ одного предмета къ другому, и не останавливался ни на одномъ—ни на *гротескности* Греческихъ живописцевъ, ни на ваяніяхъ лучшихъ Итальянскихъ дней,

ни на огромныхъ рѣзныхъ украшеніяхъ Египта, не знавшаго учителей. Богатыя завѣсы во всѣхъ частяхъ комнаты отвѣчали трепетными движеніями тихой печальной музыкѣ, происхожденіе которой было незримымъ. Чувства были подавлены смѣшанными и противорѣчивыми благовоніями, которыя, курясь, исходили изъ странныхъ, свернутыхъ, какъ листъ, кадильницъ, вмѣстѣ съ многочисленными сверкающими и мерцающими языками изумруднаго и фіолетоваго пламени. Лучи недавно взошедшаго солнца проливались на все, сквозь окна, изъ которыхъ каждое являлось отдѣльной вставкой изъ алаго стекла. Исходя отъ занавѣсей, которыя потокомъ изливались съ своихъ карнизовъ, какъ водопады расплавленнаго серебра, и сверкая въ разныя стороны, въ тысячѣ отраженій, лучи естественнаго блеска прихотливо смѣшивались, наконецъ, съ искусственнымъ свѣтомъ, и, колыхаясь, уравнированными массами, лежали на коврѣ изъ богатой, имѣющей текучій видъ, матеріи, затканной Чилийскимъ золотомъ.

„Ха! ха! ха! — ха! ха! ха!“ — расхохотался хозяинъ, когда я вошелъ въ комнату, и, подталкивая меня къ стулу, бросился самъ въ растяжку на оттоманку. „Я вижу“, сказалъ онъ, замѣчая, что я не могъ сразу освоиться съ *благопристойностью* такого необычнаго приема — „я вижу, вы изумлены моею комнатою — моими статуями — моими картинами — оригинальностью замысла въ архитектурѣ и обивкѣ! э? совершенно упоены великолѣпіемъ? Но простите меня, дорогой мой (здѣсь въ выраженіи его голоса зазвучала самая искренняя сердечность), не сердитесь на меня за мой безжалостный хохотъ. Судя по вашему виду, вы были *до послѣдней степени* изумлены. Къ тому же нѣкоторыя вещи такъ забавны, что человекъ *долженъ* смѣяться или умереть. Умереть смѣясь — это, надо думать, самая славная изъ всѣхъ славныхъ смертей. Сэръ Томасъ Моръ — тонкій человекъ былъ Сэръ Томасъ Моръ — Сэръ Томасъ Моръ, какъ вы помните, умеръ смѣясь. И въ *Нельпостяхъ* Равизія Тек-

стора есть длинный списокъ персонъ, пришедшихъ къ тому же блистательному концу. Знаете ли вы, однако“, продолжалъ онъ задумчиво, „что въ Спартѣ (нынѣ Палеохори), въ Спартѣ, говорю я, на западъ отъ крѣпости, среди хаоса едва различимыхъ развалинъ, есть нѣкое *подножіе колонны*, и на немъ еще можно прочесть буквы *ΛΑΖΜ*. Это несомнѣнно часть слова *ΓΕΛΑΖΜΑ*. Смотрите же, въ Спартѣ была тысяча храмовъ и святилищъ, посвященныхъ тысячѣмъ разнородныхъ божествъ. Какъ поразительно странно, что алтарь Смѣха долженъ былъ пережить всѣ остальные. Но въ давномъ случаѣ“, прибавилъ онъ, и голосъ его и видъ странно измѣнился, „я не вправѣ потѣшаться на вашъ счетъ. Вы легко могли быть изумлены. Европа не можетъ создать ничего такого изящнаго, какъ этотъ мой маленькій царскій кабинетъ. Другія мои комнаты совсѣмъ не въ такомъ родѣ—они представляютъ изъ себя верхъ фешенебельной безвкусицы. А это лучше фешенебельности—неправда ли? Но стоитъ только показать эту комнату, и она вызоветъ манію — у тѣхъ, кто могъ бы создать что-нибудь подобное цѣною всего своего состоянія. Я, однако, предотвратилъ такую профанацію. За однимъ исключеніемъ, вы единственный человѣкъ, кромѣ меня и моего слуги, который былъ допущенъ въ таинственные предѣлы этой царственной области, съ тѣхъ поръ какъ она была мною такъ разукрашена!“

Я поклономъ выразилъ свою признательность—побѣдительное чувство блеска, и благоуханія, и музыки, въ соединеніи съ неожиданной эксцентричностью его обращенія и его манеры, помѣшало мнѣ изъяснить въ словахъ, какъ я цѣню то, чему я могъ бы придать смыслъ комплимента.

„Вотъ“, продолжалъ онъ, вставая и опираясь на мою руку, въ то время какъ онъ проходилъ кругомъ по комнатѣ, „вотъ картины отъ Грековъ до Чимабуэ и отъ Чимабуэ до нашихъ дней. Многія изъ нихъ, какъ вы видите, выбраны безъ всякаго отношенія къ общепринятымъ *virtù*. Всѣ они, од-

нако, надлежащимъ образомъ украшаютъ стѣны комнаты, подобной этой. Здѣсь есть кромѣ того кое-какіе *шедевры* неизвѣстныхъ великихъ; а здѣсь неоконченные рисунки художниковъ, которые были знамениты въ свое время, но самыя имена которыхъ проницательность академій предоставила молчанію и мнѣ. Что вы скажете“, проговорилъ онъ, рѣзко оборачиваясь ко мнѣ, — „что вы скажете о Мадоннѣ della Pietà?“

„Да это настоящій Гвидо“, воскликнулъ я со всѣмъ свойственнымъ мнѣ энтузіазмомъ, жадно созерцая эту побѣдоносную красоту. „Это настоящій Гвидо! Какъ могли вы достать ее? нѣтъ сомнѣнія, что это лицо въ живописи то же самое, что Венера въ скульптурѣ“.

„А!“ промолвилъ онъ задумчиво, „Венера—красавица Венера?—Венера Медицейская?—съ уменьшенной головой и позолоченными волосами? Часть лѣвой руки (и онъ заговорилъ упавшимъ голосомъ, такъ что его еле можно было слышать) и вся правая реставрированы; и въ кокетливости этой правой руки, какъ думаю я, заключается квинтэссенція жеманства. Дайте *мнѣ* Канову! Аполлонъ тоже копія—въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія—слѣпой глупецъ я, неспособный видѣть прославленную вдохновенность Аполлона!—Я не могу не предпочитать—проникнитесь ко мнѣ состраданіемъ—я не могу не предпочитать Антиноя. Не Сократъ ли это сказалъ, что ваятель нашель свое изваяніе въ глыбѣ мрамора? Значить Микель Анджело отнюдь не былъ оригиналенъ въ своей строфѣ:

„Non ha l'ottimo artista alcun concetto  
Che un marmo solo in se non circonscriva“.

„Нѣтъ замысла у лучшаго художника такого,  
Чтобъ въ мраморѣ самомъ уже онъ не былъ заключенъ“.

Было замѣчено, или должно было быть замѣчено, что манеры истиннаго джентльмэна всегда явно отличаются отъ манеръ человѣка вульгарнаго, хотя мы не могли бы въ точности сказать, въ чемъ состоитъ такое различіе. Допуская,

что это замѣчаніе вполне было примѣнимо къ внѣшнему виду моего знакомаго, я чувствовалъ въ это богатое событіями утро, что оно еще болѣе могло быть примѣнено къ его внутреннему существу и нраву. Я не могу лучше опредѣлить эту душевную особенность, которая, повидимому, такъ существенно отдѣляла его отъ всѣхъ другихъ людей, какъ назвавъ ее *привычкой* напряженной и непрерывной мысли, клавшей свою печать даже на самыя незначительныя его дѣйствія—проявлявшейся въ минутахъ его шутовности, и переплетавшейся даже со вспышками его веселости—какъ ехидны, извиваясь, глядятъ изъ глазъ масокъ, что скалятъ ротъ свой на карнизахъ вокругъ храмовъ Персеполиса.

Я однако неоднократно замѣтилъ, что сквозь смѣшанный тонъ легкости и торжественности, съ которымъ онъ говорилъ о разныхъ незначительныхъ вещахъ, быстро переходя съ одного предмета на другой, сквозило что-то трепетное—какая-то нервная *растроганность* въ словахъ и въ движеніяхъ — безпокойная возбужденность въ манерахъ, казавшаяся мнѣ необъяснимой, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже возбуждавшая во мнѣ тревогу. Нерѣдко, кромѣ того, остановившись на серединѣ фразы, начало которой онъ, очевидно, забылъ, онъ какъ будто съ глубочайшимъ вниманіемъ прислушивался, или ожидая въ данную минуту чьего-то прихода, или внимая звукамъ, которые должны были существовать только въ его воображеніи.

Во время одного изъ такихъ перерывовъ мечтательности или видимой разсѣянности, перевернувъ страницу въ прекрасной трагедіи ученаго и поэта Полиціано „Орфей“ (первая самобытная итальянская трагедія), которая лежала на оттоманкѣ, я увидѣлъ одно мѣсто, подчеркнутое карандашомъ. Это былъ одинъ изъ отрывковъ въ концѣ третьяго дѣйствія—отрывокъ, вызывающій самое сильное волненіе—отрывокъ, который, хотя онъ и испорченъ нецѣломудренностью, ни одинъ мужчина не прочтетъ безъ

трепета новаго ощущенія—ни одна женщина не прочтетъ безъ вздоха. Вся страница носила на себѣ слѣды недавно пролитыхъ слезъ; а на противоположномъ чистомъ листкѣ были слѣдующія Англійскія строки, написанныя рукою, столь отличающейся отъ своеобразнаго почерка моего знакомаго, что я лишь съ нѣкоторымъ затрудненіемъ могъ признать ихъ какъ принадлежащія ему:

Ты была мнѣ—улада страданій,  
Все, чего я желалъ въ забытьи,  
Ты какъ островъ была въ океанѣ,  
Какъ журчащія звонко ручьи,  
И какъ храмъ, весь въ цвѣтахъ, весь въ туманѣ,  
И цвѣты эти были мои.

Слишкомъ радостный сонъ, чтобы длиться!  
Упованье, что жило лишь мигъ!  
Чей-то зовъ изъ грядущаго мчится,  
„Дальше! Дальше!“—слабѣющій крикъ.  
Но надъ прошлымъ (гдѣ туча дымится!)  
Духъ мой дрогнулъ—замедлилъ—понижъ.

Потому что—о, горе мнѣ! горе!—  
Блескъ души отошелъ навсегда,  
Мнѣ поетъ безпредѣльное море—  
„Никогда—никогда—никогда  
У подстрѣленной птицы во взорѣ  
Не засвѣтится жизни звѣзда.“

И часы мои—призраки сказки,  
И ночные тревожные сны—  
Тамъ, гдѣ взоръ твой, исполненный ласки,  
Гдѣ шаги твои тайно слышны—  
О, въ какой упонительной пляскѣ—  
У какой Итальянской волны!

Да, въ одномъ изъ морскихъ каравановъ,  
Ту, чей образъ такъ юнъ и красивъ,  
Отъ Любви увлекли для обмановъ,  
Отъ меня навсегда отлучивъ!—  
Отъ меня, и отъ нашихъ тумановъ,  
И отъ нашихъ серебряныхъ ивъ!

Что эти строки были написаны по-английски — языкъ, относительно котораго я не думалъ, что авторъ ихъ его знаетъ — меня не очень удивило. Я слишкомъ хорошо былъ освѣдомленъ относительно размѣровъ его познаній и его особенной склонности скрывать ихъ отъ посторонняго наблюденія, чтобы быть изумленнымъ такимъ открытiемъ; но обозначенiе мѣста, сопровождавшее дату, признаюсь, немало меня озадачило. Сперва было написано *Лондонъ*, потомъ это слово было тщательно вычеркнуто — не настолько однако, чтобы быть скрытымъ отъ внимательнаго взгляда. Я говорю, что это немало меня озадачило, такъ какъ я хорошо помню, что, однажды въ разговорѣ съ моимъ другомъ, я какъ разъ спросилъ его, встрѣчался ли онъ когда-нибудь въ Лондонѣ съ Маркезой ди Ментони (жившей за нѣсколько лѣтъ до ея замужества въ этомъ городѣ), и отвѣтъ его, если я не ошибаюсь, далъ мнѣ понять, что онъ никогда не былъ въ столицѣ Великобританiи. Я могъ бы здѣсь также упомянуть, что я не разъ слыхалъ (я, конечно, не вѣрилъ такому неправдopodobному разсказу), будто бы тотъ, о комъ я сейчасъ говорю, былъ не только по рожденiю, но и по воспитанiю, *англичанинъ*.

\* \* \* \* \*

„Здѣсь есть одна картина“, сказалъ онъ, не замѣчая, что я нашелъ трагедiю, „здѣсь есть еще одна картина, которую вы не видали“. И, откинувъ одну изъ занавѣсей, онъ открылъ портретъ Маркезы Афродиты во весь ростъ.

Человѣческое искусство не могло бы достигнуть большаго въ закрѣпленiи чертъ ея сверхчеловѣческой красоты. Та же самая воздушная фигура, которая стояла передо мною въ прошлую ночь на ступеняхъ Герцогскаго Дворца, опять стояла передо мной. Но въ выраженiи лица, залитаго сiянiемъ улыбокъ, таилась (непостижимая аномалiя!) тотъ налетъ печали, который всегда неразлучно слить съ совершенствомъ красиваго. Ея правая рука лежала на

груди. Лѣвой рукой она указывала внизъ на причудливую урну. Маленькая призрачная нога, только одна зримая глазу, едва касалась земли; и едва различимыя въ блистательномъ воздухѣ, облакавшемъ ея красоту и какъ бы замыкавшемъ ее въ святилище, рѣяли два воображаемыя крыла, самой изысканной утонченности. Взоръ мой, отойдя отъ картины, упалъ на Лицо моего друга, и мощныя слова изъ *Bussy d'Ambois* Чапмана невольно затрепетали на моихъ губахъ:

Подобно римской статуѣ стоитъ онъ,  
И будетъ такъ стоять, покуда Смертью  
Не будетъ въ мраморъ превращень.

„Ну“, сказалъ онъ наконецъ, обернувшись къ роскошно эмальированному столу изъ массивнаго серебра, на которомъ было нѣсколько бокаловъ, фантастически окрашенныхъ, и двѣ большія Этрусскія вазы, по образцу своему совершенно такія же необыкновенныя, какъ та, что находилась на переднемъ планѣ на портретѣ, и наполненныя виномъ, которое я принялъ за Юганнисбергское. „Ну“, сказалъ онъ отрывисто, „давайте пить! Конечно, теперь рано“ продолжалъ онъ, съ задумчивостью, между тѣмъ какъ херувимъ золотымъ тяжелымъ молотомъ заставилъ прозвучать въ комнатѣ первый часъ послѣ восхода солнца: „конечно, теперь рано—но что намъ до этого? давайте пить! Совершимъ возліаніе въ честь того далекаго торжественнаго солнца, которое эти пышныя лампы и кадиланицы такъ ревностно стараются побѣдить“. И, чокнувшись со мной кубкомъ, налитымъ до краевъ, онъ быстро выпилъ, одинъ за другимъ, нѣсколько бокаловъ вина.

„Жить снами“, продолжалъ онъ, впадая въ свой тонъ безсвязнаго разговора, и ставя противъ богатаго свѣта кадиланицы одну изъ великолѣпныхъ вазъ,—„жить снами, это было единственнымъ дѣломъ моей жизни. Потому я и создалъ для себя, какъ видите, это колыбельное царство сновъ. Въ сердцѣ Венеціи могъ ли я создать что-нибудь



лучшее? Я согласенъ, вы видите вокругъ себя пеструю смѣсь архитектурныхъ украшеній. Цѣломудренная чистота Іоніи оскорблена допотопными замыслами, и Египетскіе сфинксы распростерты на золотыхъ коврахъ. Но впечатлѣніе кажется несовмѣстимымъ лишь для робкаго. Отличительныя свойства мѣста, и въ особенности времени, это страшилища, которыя отпугиваютъ людей отъ созерцанія великолѣпнаго. Раньше я самъ былъ приличнымъ декораторомъ; но утонченіе безумія облекло мою душу. Все это теперь какъ нельзя болѣе подходитъ къ моему замыслу. Какъ эти покрытыя арабесками камильницы, извивающійся духъ мой обвить пламенемъ, и бредъ этой обстановки подготавливаетъ меня для болѣе безумныхъ видѣній той страны реальныхъ сновъ, куда я теперь быстро ухожу“. Онъ вдругъ остановился, склонилъ свою голову на грудь и, повидимому, прислушивался къ какому-то звуку, котораго я не могъ услышать. Наконецъ, выпрямившись во весь ростъ, онъ поднялъ глаза и, воскликнувъ, произнесъ строки Епископа Чичестерскаго:

„О, я не замедлю! Послушай. Постой.  
Мы встрѣтимся вмѣстѣ въ долину пустой“.

Въ слѣдующее мгновеніе, уступая дѣйствию вина, онъ бросился на оттоманку, и вытянулся на ней.

Въ это время на лѣстницѣ слышались быстрые шаги, и кто-то громко и поспѣшно постучался въ дверь. Я торопливо направился къ ней, чтобы предупредить вторичное возникновеніе шума, какъ вдругъ въ комнату не вошелъ, а ворвался нажъ изъ дома Ментони, и, задыхаясь отъ волненія, запинаящимся голосомъ пролепеталъ несвязныя слова: „Моя госпожа!—моя госпожа!—Отравилась!—отравилась! О, прекрасная—о, прекрасная Афродита!“

Ошеломленный, я бросился къ оттоманкѣ и сталъ будить спящаго, чтобъ вернуть его чувства къ поразительному извѣстію. Но члены его были неподвижны—губы его

посинѣли—его такъ еще недавно горѣвшіе глаза были за-  
клеплены въ *смерти*. Шатаясь, я подошелъ опять къ сто-  
лу—моя рука упала на треснувшій почернѣвшій бокаль—  
и въ душѣ моей внезапно вспыхнуло сознаніе полной и  
ужасной правды.

---

## БОЧКА АМОНТИЛЬЯДО.

Тысячу несправедливостей вынесъ я отъ Fortunato, какъ только умѣлъ, но, когда онъ осмѣлился дойти до оскорбленія, я поклялся отомстить. Однако, вы, знакомые съ качествами моей души, не предположите, конечно, что я сталъ грозить. *Наконецъ-то* я долженъ быть отомщенъ; этотъ пунктъ былъ установленъ положительно — но самая положительность, съ которой онъ былъ рѣшенъ, исключала мысль о рискѣ. Я долженъ былъ не только наказать, но наказать безнаказанно. Зло не отомщено, если возмездіе простирается и на мстителя. Равнымъ образомъ, оно не отомщено, если мститель не даетъ почувствовать тому, кто сдѣлалъ зло, что мститъ именно онъ.

Поймите же, что ни единымъ словомъ, ни какимъ-либо поступкомъ я не далъ Fortunato возможности сомнѣваться въ моемъ доброжелательствѣ. Я продолжалъ по обыкновенію улыбаться ему прямо въ лицо, и онъ не чувствовалъ, что *теперь* я улыбался — при мысли объ его уничтоженіи.

У него была одна слабость — у этого Fortunato — хотя въ другихъ отношеніяхъ его слѣдовало уважать и даже бояться. Онъ кичился своимъ тонкимъ пониманіемъ винъ. Немногіе изъ Итальянцевъ обладаютъ способностью быть въ чемъ-нибудь знатоками. По большей части ихъ энту-

зіазмъ приспособленъ къ удобному случаю и къ извѣстному моменту, чтобы надуть какого - нибудь Британскаго или Австрійскаго *милліонера*. Что касается картинъ и драгоценныхъ камней, Fortunato, подобно своимъ соотечественникамъ, былъ шарлатаномъ, но, разъ дѣло шло о старыхъ винахъ, искренность его была неподдѣльна. Въ этомъ отношеніи и я не отличался отъ него существеннымъ образомъ; я очень наострился въ распознаваніи мѣстныхъ Итальянскихъ винъ, и всегда при первой возможности дѣлалъ большія закупки.

Случилось, что въ сумерки, подъ вечеръ, въ самомъ разгарѣ карнавалныхъ безумствъ, я встрѣтился со своимъ другомъ. Онъ привѣтствовалъ меня сердечнѣйшимъ образомъ, такъ какъ, повидимому, выпилъ изрядно. Онъ былъ одѣтъ шуткомъ. На немъ былъ плотно облегавшій его, частію полосатый, костюмъ, а на головѣ высился коническій колпакъ съ бубенчиками. Какъ я радъ былъ его видѣть! Мнѣ казалось, что я никогда не перестану трясти его руку.

Я сказалъ ему — „Ахъ, дорогой мой Fortunato, что за счастливая встрѣча! Какъ отлично выглядите вы сегодня! Но я получилъ бочку вина, будто бы Амонтильядо, и у меня на этотъ счетъ сомнѣнія“.

— „Какъ?“ проговорилъ онъ, „Амонтильядо? Цѣлую бочку? Быть не можетъ! Въ разгарѣ карнавала!“

— „У меня на этотъ счетъ сомнѣнія“, отвѣтилъ я; „и я былъ настолько глупъ, что заплатилъ сполна за вино, какъ за Амонтильядо, не посоветовавшись на этотъ счетъ съ вами. Васъ нигдѣ нельзя было найти, а я боялся упустить случай“.

— „Амонтильядо!“

— „Да, но я не увѣренъ“.

— „Амонтильядо!“

— „Я долженъ разрѣшить сомнѣнія“.

— „Амонтильядо!“

— „Такъ какъ вы куда-то приглашены, я пойду отыщу Лукези. Если кто-нибудь обладает толкимъ вкусомъ— это именно онъ. Онъ скажетъ мнѣ“...

— „Лукези не можетъ отличить Амонтильядо отъ Хереса“.

— „Представьте, а есть глупцы, которые говорятъ, что его вкусъ равняется вашему“.

— „Ну, идемъ!“

— „Куда?“

— „Къ вамъ, въ подвалы“.

— „Нѣтъ, другъ мой; я не хочу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы куда-то приглашены. Лукези“...

— „Никуда я не приглашенъ; пойдѣмъ!“

— „Нѣтъ, другъ мой. Вы никуда не приглашены, но я вижу, что вы страшно прозябли. Въ подвалахъ ужаснѣйшая сырость. Они выложены селитрой“.

— „А, пустяки! Пойдемъ! Стоитъ ли обращать вниманіе на холодъ... Амонтильядо! Васъ надули; а насчетъ Лукези, могу сказать— онъ и Хереса не отличить отъ Амонтильядо“.

Говоря такимъ образомъ, Фортунато завладѣлъ моей рукой. Я надѣлъ черную шелковую маску и, плотно закутавшись въ *roque-laive* \*), позволилъ ему увлечь себя къ моему палаццо.

Никого изъ прислуги дома не было; всѣ куда то скрылись, чтобы хорошенько отпраздновать карнаваль. Я сказалъ имъ, что вернусь домой не ранѣе утра, и строго-настрого приказалъ не отлучаться изъ дому. Этихъ приказаній, какъ я прекрасно зналъ, было совершенно достаточно, чтобы тотчасъ же по моемъ уходѣ всѣ скрылись.

Я вынулъ изъ канделябровъ два факела, и, давши одинъ Фортунато, направилъ его черезъ анфиладу комнатъ до входа, который велъ въ подвалы. Я пошелъ впередъ

---

\*) Старинный плащъ.

по длинной витой лѣстницѣ, и, оборачиваясь назадъ, просилъ его быть осторожнѣе. Наконецъ, мы достигли послѣднихъ ступеней, и стояли теперь на сырой почвѣ въ катакомбахъ фамиліи Монтрезоръ.

Пріятель мой шелъ нетвердой походкой, и отъ cadaго невѣрнаго шага звенѣли бубенчики на его колпакѣ.

— „Ну, гдѣ же бочка?“—спросилъ онъ.

— „Дальше“, отвѣчалъ я; „но смотрите. вонъ какіе бѣлые узоры на стѣнахъ“.

Онъ обернулся ко мнѣ, и посмотрѣлъ мнѣ въ глаза своими тусклыми глазами, подернутыми влагой опьяненія.

— „Селитра?“ спросилъ онъ, наконецъ.

— „Селитра“, отвѣтилъ я. „Давно ли вы стали такъ кашлять?“

„Э! э! э!—э! э! э!—э! э! э!—э! э! э!“

Бѣдняжка нѣсколько минутъ не могъ отвѣтить.

— „Ничего“, проговорилъ онъ, наконецъ.

— „Нѣтъ“, сказалъ я рѣшительно, „пойдемте назадъ; ваше здоровье драгоцѣнно. Вы богаты, предъ вами преклоняются, васъ уважаютъ, васъ любятъ; вы счастливы, какъ я былъ когда-то. Васъ потерять—это была бы большая потеря. Вотъ я—дѣло другое. Пойдемте назадъ; вы захвораете, и я не хочу принимать на себя такую отвѣтственность. Да кромѣ того, вѣдь Лукези“...

— „Довольно!“ сказалъ онъ; „кашель это пустяки; я отъ него не умру. Кашель меня не убьетъ“.

— „Вѣрно—вотъ это вѣрно!“ отвѣчалъ я; „и правда, я не имѣлъ намѣренія безпокоить васъ понапрасну—но вы должны были бы принять мѣры предосторожности. Вотъ Медокъ, достаточно будетъ глотка, чтобы предохранить себя противъ сырости“.

Я отбилъ горлышко у одной изъ бутылокъ, лежавшихъ длиннымъ рядомъ на землѣ.

— „Выпейте-ка!“ сказалъ я, предлагая ему вино.

Онъ устремилъ на меня косвенный взглядъ, и поднесъ

вино къ губамъ. Затѣмъ, помедливъ, онъ дружески кивнулъ мнѣ головой, и его бубенчики зазвенѣли.

— „Пью“, проговорилъ онъ, „за усоншихъ, которые покоятся вокругъ насъ“.

— „А я за вашу долгую жизнь“.

Онъ снова взялъ меня подъ руку, и мы пошли дальше.

— „Обширные подвалы“, проговорилъ онъ.

— „Монтрезоры“, отвѣчалъ я, „представляли изъ себя семью обширную и многочисленную“.

— „Я забылъ вашъ гербъ“.

— „Громадная человѣческая нога изъ золота, на ла-  
зурномъ фонѣ; нога давить извивающуюся змѣю, которая  
своими зубами вцѣпилась ей въ пятку“.

— „И девизъ?“

— „*Nemo te impune lacessit*“ \*).

— „Отлично“, проговорилъ онъ.

Вино искрилось въ его глазахъ, и бубенчики звенѣли. Мысли мои тоже оживились; медокъ оказывалъ свое дѣй-  
ствіе. Проходя мимо стѣнъ, состоящихъ изъ нагроможден-  
ныхъ костей, вперемежку съ бочками и боченками, мы  
достигли крайнихъ предѣловъ катакомбъ. Я остановился  
снова, и на этотъ разъ осмѣлился взять Фортунато за руку,  
повыше локтя.

— „Смотрите“, проговорилъ я: „селитра все увеличи-  
вается. Вонъ она виситъ, точно мохъ. Мы теперь подъ  
руслomъ рѣки. Капли сырости просачиваются среди костей.  
Уйдемте, вернемтесь, пока еще не поздно. Вашъ кашель“...

— „Это все пустяки“, сказалъ онъ: „пойдемте впередъ.  
Но сперва еще одинъ глотокъ вина. Гдѣ тутъ вашъ ме-  
докъ?“

Я взялъ бутылку *Vin de Grave*, и, отбивъ горлышко,  
подалъ ему. Онъ осушилъ ее всю сразу. Глаза его заго-  
рѣлись дикимъ огнемъ. Онъ началъ хохотать и бросилъ

---

\*) Никто не оскорбитъ меня безнаказанно.

бутылку вверх съ жестомъ, значенія котораго я не понималъ.

Я посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ. Онъ повторилъ движеніе—очень забавное.

— „Вы не понимаете?“ спросилъ онъ.

— „Нѣтъ“, отвѣчалъ я.

— „Такъ вы, значитъ, не принадлежите къ братству“.

— „Какъ?“

— „Вы не масонъ“.

— „Да, да“,— проговорилъ я,— „да, да!“

— „Вы? Не можетъ быть! Вы—масонъ?“

— „Масонъ“, отвѣчалъ я.

— „Знакъ!“ проговорилъ онъ.

— „Вотъ!“ отвѣчалъ я, высовывая небольшую лопату изъ-подъ складокъ своего *roquelaube*.

— „Вы шутите!“ проговорилъ онъ, отступая на нѣсколько шаговъ. „Но давайте же ваше Амонтильядо“.

„Да будетъ такъ!“ сказалъ я, пряча лопату подъ плащъ, и снова предлагая ему свою руку. Онъ тяжело оперся на нее. Мы продолжали нашъ путь въ поискахъ за Амонтильядо. Мы прошли цѣлый рядъ низкихъ сводовъ, спустились, сдѣлали еще нѣсколько шаговъ, опять спустились, и достигли глубокаго склепа, въ нечистомъ воздухѣ котораго наши факелы скорѣе тлѣли, нежели свѣтили.

Въ самомъ отдаленномъ концѣ склепа виднѣлся другой склепъ, менѣе обширный. Стѣны его были окаймлены человѣческими останками, нагроможденными до самаго свода, наподобіе великихъ катакомбъ Парижа. Три стороны этого втораго склепа были еще украшены такимъ образомъ. Съ четвертой же кости были сброшены, они въ безпорядкѣ лежали на землѣ, образуя въ одномъ мѣстѣ такимъ образомъ насыпь. Въ стѣнѣ, освобожденной отъ костей, мы замѣтили еще новую впадину, четыре фута въ глубину, три въ ширину, и шесть или семь въ вышину. Повидимому, она не была предназначена для какого-нибудь особаго



употребленія, но представлялася промежуткомъ между двумя огромными подпорами, поддерживавшими своды катакомбъ, и примыкала къ одной изъ главныхъ стѣнъ, выстроенныхъ изъ плотнаго гранита.

Напрасно Фортунато, поднявши свой опѣпенѣлый факель, пытался проникнуть взглядомъ въ глубину этой впадины. Слабый свѣтъ не позволялъ намъ различить ея крайніе предѣлы.

— „Идите“, сказала я; „вотъ здѣсь Амонтильядо! А что касается Лукези“...

— „Онъ невѣжда“, прервалъ меня мой другъ, невѣрными шагами устремляя въпередъ, между тѣмъ какъ я шелъ за нимъ по пятамъ. Вдругъ онъ достигъ конца ниши и, натолкнувшись на стѣну, остановился въ тупомъ изумленіи. Еще мгновеніе, и я приковалъ его къ граниту. На поверхности стѣны были двѣ желѣзныя скобки, на разстояніи двухъ футовъ одна отъ другой, въ горизонтальномъ направленіи. Съ одной изъ нихъ свѣшивалась короткая цѣпь, съ другой висячій замокъ. Обвить Фортунато желѣзными звеньями за талию и запереть цѣпь — было дѣломъ нѣсколькихъ секундъ. Онъ былъ слишкомъ изумленъ, чтобы сопротивляться. Вынувъ ключъ, я отступилъ на нѣсколько шаговъ изъ углубленія.

— „Проведите рукой по стѣнѣ“, проговорилъ я; „вы не можете не чувствовать селитры. Дѣйствительно, здѣсь очень сыро. Позвольте мнѣ еще разъ *умолять* васъ вернуться. Нѣтъ? Ну, такъ я положительно долженъ оставить васъ. Однако, предварительно я долженъ выказать вамъ все вниманіе, какимъ только могу располагать“.

— „Амонтильядо!“ выкрикнулъ мой другъ, еще не успѣвши оправиться отъ изумленія.

— „Точно“, отвѣтилъ я; „Амонтильядо“.

Произнеся эти слова, я приступилъ къ грудѣ костей, о которыхъ говорилъ раньше. Отбросивъ ихъ въ сторону, я вскорѣ открылъ нѣкоторое количество песчаннику и из-

весткового раствора. Съ помощью этихъ матеріаловъ, а также съ помощью моеѣ лопаты, я живо принялся замуравывать входъ въ нишу.

Едва я окончилъ первый рядъ каменной кладки, какъ увидѣлъ, что опьяненіе Fortunato въ значительной степени разсѣялось. Первымъ указаніемъ на это былъ глухой, жалобный крикъ, раздавшійся изъ глубины впадины. То *не былъ* крикъ пьянаго человѣка. Затѣмъ послѣдовало долгое и упорное молчаніе. Я положилъ второй рядъ камней, и третій, и четвертый; и тогда я услышалъ бѣшеное потрясаніе цѣпью. Этотъ шумъ продолжался нѣсколько минутъ, и, чтобы слушать его съ бѣльшимъ удовлетвореніемъ, я на время прекратилъ свою работу и усѣлся на костяхъ. Когда, наконецъ, рѣзкое звяканье умолкло, я снова взялся за лопату, и безъ помѣхи окончилъ пятый, шестой, и седьмой рядъ. Стѣна теперь почти восходила въ уровень съ моею грудью. Я сдѣлалъ новую остановку, и, поднявъ факелы надъ каменнымъ сооруженіемъ, устремилъ нѣсколько слабыхъ лучей на фигуру, заключенную внутри.

Цѣлый рядъ громкихъ и рѣзкихъ криковъ, внезапно вырвавшихся изъ горла прикованнаго призрака, съ страшною силою отшвырнулъ меня назадъ. На мигъ меня охватило колебаніе—мною овладѣлъ трепетъ. Выхвативъ шпагу, я началъ ощупывать ей углубленіе; но минута размышленья успокоила меня. Я положилъ свою руку на плотную стѣну катакомбъ, и почувствовалъ полное удовлетвореніе. Я снова приблизился къ своему сооруженію. Я отвѣчалъ на вопли кричавшаго. Я былъ ему какъ эхо — я вторилъ ему — я превзошелъ его въ силѣ и продолжительности воплей. Да, я сдѣлалъ такъ, и крикунъ умолкъ.

Была уже полночь, и работа моя близилась къ концу. Я довершилъ восьмой рядъ, девятый, и десятый. Я окончилъ часть одиннадцатаго и послѣдняго; оставалось только укрѣпить одинъ камень и заштукатурить его. Я поднималъ его съ большимъ усиленіемъ; я уже почти пригналъ его къ

должному положенію. Но тутъ изъ углубленія раздался сдержанный смѣхъ, отъ котораго дыбомъ стали волосы на моей головѣ. Потомъ послышался печальный голосъ, и я съ трудомъ узналъ, что онъ принадлежитъ благородному Fortunato. Голосъ говорилъ —

— „Ха! ха! ха! — хе! хе! — вотъ славная штука — дѣйствительно, это штука. Посмѣемся же мы надъ ней, когда будемъ въ палатцу. — Да! да! — Славное вино! — Да! да!“.

— „Амонтильядо!“ сказалъ я.

— „Хе! хе! хе! — да, Амонтильядо! Но какъ вы думаете, не поздно теперъ? Пожалуй, насъ ждуть въ палатцу, синьора Fortunato и всѣ другіе? Пойдемъ!“.

— „Да“, сказалъ я, „пойдемъ“.

— „Во имя Бога, Монтресоръ!“

— „Да“, сказалъ я, „во имя Бога!“

Но на эти слова я тщетно ждалъ отвѣта. Мною овладѣло нетерпѣніе. Я громко позвалъ —

„Фортунато!“

Никакого отвѣта. Я позвалъ опять —

„Фортунато!“

Никакого отвѣта. Я просунулъ одинъ факель черезъ отверстіе, оставшееся незакрытымъ, и бросилъ его въ углубленіе. Оттуда только зазвенѣли бубенчики. Сердце у меня сжалось — въ катакомбахъ было такъ душно. Я успѣшилъ окончить свою работу. Я укрѣпилъ послѣдній камень; я заштукатурилъ его. Противъ новой кладки я воздвигъ старую стѣну изъ костей. Прошло полстолѣтія, и ни одинъ смертный не потревожилъ ихъ. *In pace requiescat* \*).

---

\*) Въ мирѣ да почиетъ!

## ЧЕЛОВѢКЪ Т О Л П Ы .

Ce grand malheur de ne pouvoir être seul \*).

*La Bruyère.*

Очень хорошо было сказано объ одной нѣмецкой книгѣ, что „es lässt sich nicht lesen“ — буквально, она не позволяетъ себя читать. Есть тайны, которыя не позволяютъ себя высказать. Люди умираютъ каждую ночь на своихъ постеляхъ, судорожно сжимая руки у призраковъ, которые выслушиваютъ ихъ исповѣдь, и смотрятъ жалобно имъ въ глаза — умираютъ съ отчаяньемъ въ сердцѣ и съ конвульсіями въ горлѣ, по причинѣ чудовищности тайнъ, которыя *не допускаютъ*, чтобы ихъ раскрыли. Время отъ времени, увы, человѣческая совѣсть принимаетъ на себя ношу такую страшную и тяжелую, что она можетъ быть сложена только въ могилѣ. И такимъ образомъ сущность преступленія остается не разоблаченной.

Не такъ давно, на закатѣ одного изъ осеннихъ вечеровъ, я сидѣлъ у широкаго окна съ выступомъ, въ кофейнѣ Д — въ Лондонѣ. Въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ я былъ боленъ, но тогда уже выздоравливалъ, и, чувствуя

---

\*) Это великое несчастье не имѣть возможности быть наединѣ съ самимъ собой.

приливъ возвращающихся силъ, находился въ одномъ изъ тѣхъ счастливыхъ расположеній духа, которыя являются какъ разъ чѣмъ-то противоположнымъ *скукъ*—я испытывалъ острую напряженность чувствъ, охватывающую насъ, когда съ нашихъ умственныхъ взоровъ спадаетъ пелена *αἴλη οὐ πρὶν ἐλθεῖν*—и когда наэлектризованный разумъ настолько же превосходить свои обычные силы, насколько живой и наивный умъ Лейбница превосходитъ бессмысленную и пошлую риторикѣ Горгія. Дышать было наслажденіемъ, я извлекалъ положительное удовольствіе даже изъ того, что является обыкновенно источникомъ страданія. Я чувствовалъ спокойный, но пытливый интересъ рѣшительно ко всему. Держа сигару въ зубахъ и положивъ на колѣни газету, я забавлялся въ теченіи большей части послѣобѣденнаго времени, то погружаясь въ чтеніе объявленій, то наблюдая смѣшанную публику, находившуюся въ залѣ, то устремляя внимательные взгляды на улицу черезъ стекла, закоптѣвшія отъ дыма.

Это была одна изъ самыхъ главныхъ улицъ города, и цѣлый день на ней толпились прохожіе. Но къ наступленію ночи толпа начала увеличиваться съ минуты на минуту; и, когда всѣ фонари заблестали, мимо двери стали двигаться два густые и непрерывные потока городского населенія. Я никогда раньше не былъ въ такомъ положеніи, какъ въ этотъ особенный моментъ вечера, и безпкойное море человѣческихъ головъ наполняло меня восхитительнымъ ощущеніемъ новизны. Наконецъ я совершенно забылъ о томъ, что дѣлалось въ отелѣ, и всецѣло погрузился въ созерцаніе зрѣлища, развертывавшагося за окномъ.

Сперва мои наблюденія были отвлеченными и обобщающими. Я смотрѣлъ на прохожихъ въ ихъ массѣ, и созерцалъ ихъ лишь какъ цѣлое. Вскорѣ однако я перешелъ къ деталямъ, и съ большимъ тщаніемъ сталъ разсматривать безконечное различіе лицъ, одежды, манеръ, походки, отдѣльныхъ чертъ лица, и общаго выраженія фізіономіи.

По большей части проходившіе имѣли дѣловой сдержанно-довольный видъ, и, казалось, думали только о томъ, какъ бы имъ пробраться черезъ эту толпу. Они хмурили брови, глаза ихъ быстро перебѣгали съ одного пункта на другой; если кто-нибудь изъ шедшихъ мимо толкалъ ихъ, они не выказывали никакого нетерпѣнія, но поправляли свой костюмъ и слѣшили впередъ. Другіе, — группа тоже достаточно значительная, — отличались безпокойностью движеній; у нихъ были возбужденныя раскрасившіяся лица, они говорили сами съ собой и жестикулировали, какъ бы чувствуя себя въ одиночествѣ уже по одному тому, что ихъ окружала густая толпа. Встрѣчая помѣху на своемъ пути, они внезапно переставали бормотать про себя, но удваивали свою жестикуляцію, и дожидались съ разсѣянной и преувеличенной улыбкой, пока не проходили лица, ихъ задержавшія. Если ихъ толкали, они низко кланялись тѣмъ, кто ихъ толкнулъ, и выказывали крайнее смущеніе. Въ этихъ двухъ обширныхъ группахъ не было ничего особенно отличительнаго, кромѣ чертъ, только что отмѣченныхъ. Ихъ костюмъ принадлежалъ къ тому роду, который самымъ точнымъ образомъ опредѣляется выраженіемъ „приличный“. Это, безъ сомнѣнія, были дворяне, купцы, стряпчіе, поставщики, лица, торгующія процентными бумагами — эвпатриды и, можно сказать, ходячія общія мѣста — люди праздные и люди очень занятые собственными дѣлами, ведущіе ихъ на собственный страхъ и рискъ. Они не надолго приковали мое вниманіе.

Каста клерковъ выдѣлялась неотрицаемымъ образомъ; и здѣсь я замѣтилъ два рѣзко-отличающіеся разряда. Одни — мелкіе приказчики сомнительныхъ домовъ, гдѣ сбываются краденныя вещи, молодые джентльмены въ тѣсныхъ костюмахъ, съ блестящими сапогами, съ напомаженными волосами, съ надменнымъ выраженіемъ губъ. Если оставить въ сторонѣ извѣстную живость движеній, которая, за недостаткомъ лучшаго слова, можетъ быть названа раз-

вязностью аршинника, манеры этихъ господъ представлялись мнѣ точнымъ воспроизведеніемъ того, что было совершенствомъ *хорошаго тона* года полтора тому назадъ. Они блистали оборышами барской спѣси; таково, какъ мнѣ думается, лучшее опредѣленіе даннаго класса.

Что касается разряда старшихъ клерковъ солидныхъ фирмъ, *steady old fellows*, относительно ихъ тоже нельзя было ошибиться. Они выдѣлялись своимъ костюмомъ, своими черными или коричневыми панталонами, сдѣланными очень комфортабельно, бѣлыми галстуками и жилетами, большими башмаками, имѣвшими внушительный видъ, и плотными чулками или штиблетами. У всѣхъ были нѣсколько облысѣлыя головы, причемъ правое ухо, отъ долгой привычки держать перо, страннымъ образомъ оттопыривалось. Я замѣтилъ, что они всегда снимали и надѣвали шляпу обѣими руками, что всегда у нихъ были часы съ короткой золотой цѣпью основательнаго стариннаго образца. Отличительной ихъ чертой являлась аффектація благопристойности, если только на самомъ дѣлѣ можетъ быть аффектація такая почтенная.

Было также въ этой толпѣ достаточное количество нѣкоторыхъ индивидуумовъ блистательнаго вида; я легко узналъ въ нихъ представителей расы карманныхъ воришекъ, которыми кишатъ всѣ большіе города. Я разсматривалъ этихъ благовоспитанныхъ господъ съ большимъ любопытствомъ, и отказывался понять, какимъ образомъ джентльмены могутъ считать ихъ настоящими джентльменами. Обширность ихъ манжетъ и выраженіе чрезвычайнаго прямодушія должны были бы выдавать ихъ сразу.

Еще легче было узнать записныхъ картежниковъ, которыхъ я усмотрѣлъ немало. Костюмы ихъ были весьма разнообразны, начиная съ отчаяннаго *thimble-rig bully* съ бархатнымъ жилетомъ, съ галстукомъ *fantaisie*, съ позолоченными цѣпочками, съ филигранными пуговицами, и кончая тщательно упрощеннымъ костюмомъ пастора, менѣе

всего другого дающимъ поводъ для подозрѣній. Всѣ они одинаково отличались темноватымъ цвѣтомъ лица, какой-то туманной тусклостью глазъ и блѣдностью сжатыхъ губъ. Были, кромѣ того, еще двѣ черты, по которымъ я могъ всегда узнать ихъ: низкій сдержанный тонъ разговора и упорная наклонность большого пальца оттягиваться такимъ образомъ, что онъ составлялъ почти прямой уголъ съ другими пальцами. Весьма часто, въ одной компаніи съ этими господами, я замѣчалъ извѣстную кучку лицъ, нѣсколько отличающуюся отъ нихъ своими привычками; но это были птицы такого же полета. Это ловкіе пройдохи, джентльмены, кормящіеся своей изворотливостью. Предпринимая завоевательный походъ противъ публики, они раздѣляются на два батальона: одни принадлежатъ къ типу дэнди, другіе къ типу человѣка военнаго. У первыхъ отличительная черта—длинные волосы и постоянная улыбка; у вторыхъ—длинный сюртукъ и нахмуренный видъ.

Нисходя по ступенькамъ того, что называется *хорошимъ обществомъ*, я нашелъ болѣе мрачныя и глубокія темы для размышленія. Тутъ были Евреи-разносчики, съ вспыхивающими ястребиными глазами, и съ лицомъ, которое каждой своей чертой говорило объ униженіи отверженца; дерзкіе профессиональные попрошайки, бросавшіе сердито-укоризненные взгляды на нищихъ лучшаго типа, которыхъ только отчаяніе могло выгнать на улицу, окутанную ночью, просить подавнія; дряхлые, трясущіеся инвалиды, которые, чувствуя на себѣ неукоснительную руку смерти, пробирались невѣрными шагами черезъ толпу, и каждому заглядывали въ лицо умоляющимъ, жалобнымъ взглядомъ, какъ бы стараясь уловить случайное утѣшеніе, найти утраченную надежду; скромныя молодыя дѣвушки, возвращавшіяся послѣ долгой и поздней работы въ свой безпріютный уголъ, и отвертывавшіяся скорѣе съ горечью, чѣмъ съ негодованіемъ, отъ взглядовъ наглецовъ, избѣгать съ которыми прямого соприкосновенія они не могли;



продажныя женщины всѣхъ видовъ и возрастовъ: — безусловная красавица въ первомъ расцвѣтѣ женственности, напоминающая статую, описанную Лукіаномъ: извнѣ — Паросскій мраморъ, внутри — нечистыя мерзости; — прокаженная въ лохмотьяхъ, гнусная и безвозвратно-потерянная; — старая вѣдьма, морщинистая, намазанная, и увѣшанная разными украшеніями, вся — послѣдній порывъ къ молодости; — полуресноукъ съ несозрѣвшими формами, но отъ долгаго соучастія уже набившій себѣ руку въ приемахъ ремесла, недоросшая ученица, снѣдаемая жаднымъ желаніемъ стать въ уровень со старшими въ доблестяхъ порока; пьяницы, безчисленные и неописуемые — въ заплатанныхъ лохмотьяхъ, шатающіеся изъ стороны въ сторону, испускающіе нечленораздѣльное бормотанье, съ тусклыми и подбитыми глазами, — другіе въ костюмахъ хотя и грязныхъ, но еще цѣлыхъ, съ толстыми чувственными губами, съ прямодушными красноватыми лицами, съ нѣкоторой неувѣренною заносчивостью въ манерахъ, — другіе, одѣтые въ платье, которое когда-то было очень доброкачественнымъ, и которое даже теперь было вычищено самымъ тщательнымъ образомъ — люди, шедшіе неестественно — упругими, твердыми шагами, но съ лицомъ страшно — блѣднымъ, съ глазами отвратительно — дикими и красными — идя черезъ толпу, они цѣплялись дрожащими пальцами за все, что подвергывалось имъ подъ руку; и потомъ всѣ эти разносчики, торгующіе пирогами, носильщики, выгрузчики угля, трубочисты, шарманщики, бродяги, показывающіе обезьянъ, и продавцы пѣсенъ, тѣ, которые торгуютъ тѣми, которые поютъ; оборванные ремесленники и истощенные рабочіе всякаго рода — и всѣ, исполненные шумной и безпорядочной живости, которая оскорбляла слухъ своими рѣзкими диссонансами и представляла для глаза ранящую картину.

По мѣрѣ того какъ ночь становилась болѣе глубокой, для меня становился болѣе глубокимъ интересъ того зрѣ-

лица, которое развѣтывалось передъ моими глазами; ибо не только общій характеръ толпы существенно измѣнился (ея болѣе благородныя черты постепенно стирались; часть населенія, отличавшаяся наибольшей порядочностью, мало-по-малу удалялась, и болѣе грубые элементы выступали болѣе рельефно, по мѣрѣ того какъ позднѣйшій часъ выманилъ всякаго рода низость изъ ея логовища); но, кромѣ того, лучи газовыхъ фонарей, сперва слабые, когда они боролись съ сіяньемъ умирающаго дня, теперь, наконецъ, стали яркими, и озаряли всѣ предметы искрящимся и пыльнымъ свѣтомъ. Все кругомъ было мрачно, но лучезарно, какъ то эбеновое дерево, съ которымъ сравнивали слогъ Тертуліана.

Странные свѣтовые эффекты очаровали меня, заставляя внимательно разсматривать отдѣльныя лица; и хотя быстрота, съ которой этотъ міръ лучистыхъ тѣней пробѣгала передъ окномъ, мѣшала мнѣ устремить пристальный взглядъ на то или другое лицо, тѣмъ не менѣе, благодаря моему особенному мыслительному состоянію, я, казалось, нерѣдко могъ прочесть даже въ эти краткія мгновенія исторію долгихъ лѣтъ.

Прижавшись лицомъ къ стеклу, я изучалъ, такимъ образомъ, толпу, какъ вдругъ мнѣ бросилась въ глаза одна фізіономія (старого, дряхлаго человѣка, лѣтъ шестидесяти пяти или семидесяти), — фізіономія, которая сразу поразила и приковала все мое вниманіе, по причинѣ совершенно невиданной идіосинкразіи ея выраженія. Никогда раньше не случалось мнѣ наблюдать что-либо, напоминающее это выраженіе хотя бы отдаленнымъ образомъ. Я хорошо помню, что, когда я увидалъ это лицо, у меня тотчасъ же мелькнула мысль, что если бы Рэтчъ видѣлъ его, онъ, конечно, предпочелъ бы это выраженіе тѣмъ художественнымъ эффектамъ, съ помощью которыхъ онъ старался воплотить образъ Дьявола. Пытаясь въ теченіи краткаго мгновенья, сопровождавшаго этотъ бѣглый взглядъ, проанализировать

сколько-нибудь общее впечатлѣніе, полученное мной, я почувствовалъ, что въ моемъ умѣ смутно и противорѣчиво возникли представленія о громадной умственной силѣ, об осторожности, скарденности, алчности, хладнокровіи, коварствѣ, кровожадности, о торжествѣ, веселости, о крайнемъ ужасѣ, о напряженномъ — и безкончномъ отчаяніи. Меня точно кто толкнулъ, пробудилъ, очаровалъ. „Что за безумная исторія“, сказалъ я самому себѣ, „запечатлѣлась въ этомъ сердцѣ!“ Меня охватило страстное желаніе не терять этого человѣка изъ виду — узнать о немъ какую-нибудь подробность. Наскоро накинувъ пальто, схвативъ мою шляпу и трость, я бросился на улицу и сталъ толкаться черезъ толпу въ томъ направленіи, въ которомъ, какъ я видѣлъ, пошелъ этотъ старикъ, уже успѣвшій исчезнуть. Съ нѣкоторыми затрудненіями мнѣ удалось, наконецъ, увидѣть его; я приблизился и сталъ слѣдовать за нимъ очень близко, но съ большими предосторожностями, чтобы не возбудить его вниманія.

Теперь я могъ съ удобствомъ изучить его наружность. Онъ былъ небольшого роста, очень тонокъ и на видъ очень слабъ. На немъ было грязное и оборванное платье; но когда время отъ времени онъ входилъ въ полосу яркаго блеска, я могъ замѣтить, что его бѣлье, хотя и засаленное, было хорошаго качества; и, если мое зрѣніе не обмануло меня, я увидѣлъ, какъ черезъ прорѣху плаща, тщательно застегнутаго и очевидно купленнаго изъ вторыхъ рукъ, сверкнулъ брилліантъ и кинжалъ. Эти наблюденія еще болѣе усилили мое любопытство, и я рѣшилъ слѣдовать за старикомъ всюду, куда бы онъ ни пошелъ.

Была уже глубокая ночь, и надъ городомъ повисъ густой влажный туманъ, вскорѣ разрѣшившійся тяжелымъ и упорнымъ дождемъ. Перемѣна погоды оказала на толпу странное дѣйствіе; все кругомъ снова зашумѣло; надъ толпой выросъ цѣлый лѣсъ зонтиковъ, волненіе, давка и смутный гулъ удесятились. Что касается меня, я не осо-

бенно безпокоился о дождѣ — во мнѣ крылась застарѣлая лихорадка, для которой сырость была какой-то усладой, правда, нѣсколько опасной. Завязавши ротъ платкомъ, я продолжалъ свой путь. Въ продолженіи получаса старикъ съ трудомъ пробирался по людной улицѣ; и я шель почти рядомъ съ нимъ, боясь потерять его изъ виду. Такъ какъ онъ ни разу не оглядывался, то, естественно, не замѣчалъ меня. Вскорѣ онъ перешель на перекрестную улицу; хотя и здѣсь толпилось очень много народу, все же она была не такъ загромождена, какъ та главная, которую онъ только что оставилъ. Въ его движеніяхъ, во всемъ его видѣ произошла въ это время неоспоримая перемѣна. Онъ шель болѣе медленно и менѣе увѣренно — какъ бы не имѣя опредѣленной цѣли. Безъ всякой видимой нужды онъ нѣсколько разъ переходилъ дорогу; и давка все еще была настолько велика, что я каждый разъ, когда онъ мѣнялъ дорогу, долженъ былъ идти за нимъ по пятамъ. Почти цѣлый часъ бродилъ незнакомецъ по этой длинной и узкой улицѣ, толпа постепенно рѣдѣла, и число прохожихъ сдѣлалось приблизительно такимъ же, какое около полудня можно видѣть на Broadway близъ парка — такъ велика разница между Лондонскимъ населеніемъ и населеніемъ наиболѣе люднаго Американскаго города. Слѣдующій поворотъ привель насъ къ скверу, который былъ ярко освѣщенъ и кипѣлъ жизнью. Къ старику вернулся его прежній видъ. Онъ склонилъ голову на грудь, между тѣмъ какъ глаза его дико смотрѣли изъ-подъ нахмуренныхъ бровей во всѣ стороны, на окружающую его толпу. Онъ упорно продолжалъ идти впередъ. Однако, я былъ удивленъ, видя, что, обогнувъ скверъ, онъ возвратился на прежнее мѣсто и пошелъ тѣмъ же путемъ. Я былъ еще болѣе удивленъ, видя, что онъ повторилъ эту прогулку нѣсколько разъ — причемъ однажды чуть не поймалъ меня въ моемъ занятіи, сдѣлавъ быстрый поворотъ.

Такимъ образомъ прошелъ еще часъ, и прохожіе тѣс-

нили насъ уже гораздо менѣе. Дождь падалъ неумолимо; въ воздухѣ распространился холодъ; каждый спѣшилъ къ себѣ домой. Съ нетерпѣливымъ жестомъ, старикъ перешелъ на сосѣднюю улицу, сравнительно пустынную. Около четверти мили онъ почти бѣжалъ по ней, съ проворствомъ, котораго я никакъ не могъ предполагать въ такомъ престарѣломъ существѣ; я едва могъ слѣдовать за нимъ. Черезъ нѣсколько мгновений мы достигли люднаго и обширнаго базара, съ отдѣльными уголками котораго старикъ, повидимому, былъ отлично знакомъ; здѣсь къ нему опять вернулся его прежній видъ, и онъ безцѣльно началъ бродить то тамъ, то здѣсь, среди покупателей и продавцовъ.

Цѣлые полтора часа, или около того, мы ходили по этой площади, и я долженъ былъ принимать крайнія мѣры предосторожности, чтобы не отстать отъ него и въ то же время не возбудить его вниманія. Къ счастью, на мнѣ были резиновыя калоши, и я могъ двигаться совершенно безшумно. Не было ни одного мгновения, когда бы онъ замѣтилъ, что я слѣжу за нимъ. Онъ переходилъ изъ лавки въ лавку, ничего не покупалъ, ни съ кѣмъ не говорилъ ни слова, и смотрѣлъ на всѣ выставочныя вещи пристальнымъ, дикимъ, и какимъ-то отсутствующимъ взглядомъ. Я былъ изумленъ до крайности его поведеніемъ и твердо рѣшился во что бы то ни стало не выпускать его изъ виду, пока тѣмъ или инымъ путемъ не удовлетворю своего любопытства.

Громкій бой, раздавшійся на башнѣ, возвѣстилъ одиннадцать часовъ, и публика быстро очистила базаръ. Одинъ лавочникъ, закрывая ставни, толкнулъ незнакомца локтемъ, и въ то же мгновение я увидалъ, какъ по его тѣлу пробѣжала дрожь. Онъ бросился на улицу, съ тоскливымъ безпокойствомъ оглядѣлся кругомъ, и потомъ съ невѣроятной быстротой побѣжалъ по разнымъ пустыннымъ и извилистымъ переулкамъ, пока, наконецъ, мы еще разъ не достигли большой улицы, откуда начали свой путь — той

улицы, на которой находилась кофейня Д. Однако, улица эта имѣла теперь совершенно иной видъ. Правда, газъ по-прежнему ярко озарялъ ее; но дождь падалъ съ какимъ-то бѣшенствомъ, и только рѣдкіе прохожіе виднѣлись на ней. Старикъ поблѣднѣлъ. Угрюмо онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по улицѣ, которая еще такъ недавно была усѣяна оживленной толпой, потомъ, съ тяжелымъ вздохомъ, онъ пошелъ по направленію къ рѣкѣ, и, слѣдуя разными окольными путями, достигъ наконецъ одного изъ главныхъ театровъ. Тамъ только что окончилось представленіе, и публика густой массой выходила изъ дверей. Я увидалъ, какъ незнакомецъ открылъ ротъ, точно онъ хотѣлъ свободно вздохнуть, точно онъ хотѣлъ окунуться въ толпу; но, какъ мнѣ показалось, напряженная мука, искажавшая его черты, до извѣстной степени улеглась. Голова его снова упала на грудь; онъ имѣлъ теперь тотъ же самый видъ, какъ въ первый моментъ, когда я его увидалъ. Я замѣтилъ, что онъ пошелъ по той сторонѣ, гдѣ скопился главный потокъ уходившихъ зрителей—но, какъ бы то ни было, я былъ не въ силахъ понять его причудливаго упрямства.

По мѣрѣ того какъ онъ шелъ, публика рѣдѣла и къ нему вернулись его прежнія колебанія и тревожное состояніе. Нѣкоторое время онъ слѣдовалъ очень близко за кучкой какихъ-то горластыхъ людей, человекъ въ десять—двѣнадцать; но одинъ за другимъ они разсѣялись, и только трое остались вмѣстѣ въ узкомъ и глухомъ переулкѣ. Старикъ остановился и на минуту погрузился въ размышленіе; потомъ, со всѣми признаками возбужденія, онъ быстро пошелъ по дорогѣ, приведшей насъ къ самому краю города, къ мѣстностямъ, сильно отличавшимся отъ тѣхъ, по которымъ мы только что проходили. Это былъ наиболѣе шумный кварталъ Лондона, гдѣ все отмѣчено гнусной печатью самой удручающей нищеты и самой безвозвратной преступности. Подъ тусклымъ свѣтомъ случайныхъ фонарей предстали деревянные дома, высокіе, ветхіе, изъѣден-

ные червями, угрожающіе своимъ паденіемъ, въ такомъ прихотливомъ безпорядкѣ, что проходы едва видѣлись между ними. Въмѣсто правильныхъ мостовыхъ лежали тамъ и сямъ камни, брошенные наудачу, и въ промежуткахъ росла густая трава. Омерзительная нечисть гноилась въ застоявшихся каналахъ. Все кругомъ было окутано безу-тѣшностью. Но по мѣрѣ того какъ мы шли, мало-по-малу и совершенно явственно стали воскресать звуки человѣческой жизни, и наконецъ показались кишачія толпы самыхъ погибшихъ отверженцевъ Лондонскаго населенія; пошатываясь, они брели въ разныя стороны. И духъ незнакомца снова всыхнулъ, какъ лампа, готовая сейчасъ угаснуть. Еще разъ онъ устремился впередъ легкими шагами. Вдругъ при поворотѣ на насъ упалъ яркій блескъ, мы находились передъ однимъ изъ подгородныхъ храмовъ Невоздержности—передъ дворцомъ нечистаго Джина.

Близился разсвѣтъ; но злосчастные пьяницы все еще толпились, входя черезъ блестящую дверь и выходя изъ нея. Почти вскрикнувъ отъ радости, старикъ съ силой проникъ туда, принявъ свой первоначальный видъ и сталъ разгуливать среди толпы, туда и сюда, безъ всякой видимой цѣли. Однако, ему не долго пришлось заниматься этимъ; давка около двери, черезъ которую тѣсными кучками выходили посѣтители, показывала, что хозяинъ закрывалъ свое заведеніе, въ виду поздняго часа. Что-то болѣе острое, нежели отчаяніе, увидалъ я на лицѣ этого страннаго существа, за которымъ слѣдилъ такъ упорно. Но старикъ безъ колебаній продолжалъ свой путь, съ бѣшеной энергіей пошелъ онъ назадъ по своимъ слѣдамъ и достигъ до самаго сердца могучаго Лондона. Онъ бѣжалъ долго и быстро, и я слѣдовалъ за нимъ, охваченный необычайнымъ изумленіемъ, рѣшившись ни за что не прекращать своего наблюденія, теперь всецѣло поглотившаго меня. Пока мы шли, взошло солнце, и когда мы достигли самой людной части этого громаднаго города, достигли улицы, гдѣ находилась

кофейня Д—, тамъ парила людская суета, врядъ ли меньшая, чѣмъ та, что была наканунѣ вечеромъ. И посреди ежеминутно возростающаго движенія я долго еще преслѣдовалъ страннаго старика. Но онъ все бродилъ взадъ и впередъ, и въ продолженіи цѣлаго дня не выходилъ изъ смутной давки, загромождавшей эту улицу. И когда приблизились тѣни второго вечера, я почувствовалъ смертельную усталость, и, внезапно вставъ передъ бродягой, пристально глянулъ ему въ лицо. Онъ не замѣтилъ меня, и продолжалъ свое торжественное шествіе, а я, прекративъ свою погоню, погрузился въ размышленіе. „Этотъ старикъ“, сказалъ я наконецъ самому себѣ, „является первообразомъ и гениемъ глубокаго преступленія. Онъ не въ силахъ быть наединѣ съ самимъ собой. Это — человекъ толпы. Было бы тщетно гнаться за нимъ; ибо я ничего больше не узнаю ни о немъ, ни объ его поступкахъ. Худшее въ мірѣ сердце является книгой болѣе тяжеловѣсной, чѣмъ „Hortulus Animae“\*), и, быть-можетъ, это одно изъ великихъ благодѣяній Господа, что такая книга не позволяетъ себя прочесть— „es lässt sich nicht lesen“.

---

\*) Grünninger, *Hortulus Animae cum Oratiunculis Aliquibus Superadditis*. См. *J. D'Israeli's Curiosities of Literature*.



## ФАКТЫ ВЪ ДѢЛѢ МИСТЕРА ВАЛЬДЕМАРА.

Я, конечно, не вижу ничего удивительнаго въ томъ, что необыкновенное дѣло Мистера Вальдемара возбудило толки. Было бы удивительнымъ обратное—въ особенности если принять во вниманіе всѣ обстоятельства. Благодаря желанію заинтересованныхъ сторонъ держать дѣло внѣ вѣдѣнія публики, по крайней мѣрѣ въ настоящее время, или до того времени, пока не представится новый случай для изслѣдованія—благодаря нашимъ тщательнымъ попыткамъ въ этомъ смыслѣ — въ обществѣ возникли искаженные и преувеличенные рассказы, сдѣлавшіеся источникомъ крайне непріятныхъ ложныхъ представленій, а отсюда, естественно, источникомъ недоуверія.

Теперь положительно необходимо, чтобы я изложилъ *факты*—по крайней мѣрѣ такъ, какъ я понимаю ихъ самъ. Въ сжатомъ видѣ они таковы:

Вниманіе мое за послѣдніе три года было нѣсколько разъ привлекаемо къ вопросамъ о месмеризмѣ; около девяти мѣсяцевъ тому назадъ, совершенно внезапно, мнѣ пришла въ голову мысль, что въ цѣломъ рядѣ опытовъ, произведенныхъ до сихъ поръ, сдѣлано было весьма достопримѣчательное и въ высшей степени необъяснимое опущеніе: никто еще не былъ подвергнутъ месмерическому току

*in articulo mortis*. Слѣдовало выяснить, во-первыхъ, существуетъ ли, при такихъ условіяхъ, у пациента какая-нибудь впечатлительность къ магнетическому вліянію; во-вторыхъ, если существуетъ, ослабляется-ли она или усиливается даннымъ обстоятельствомъ; въ-третьихъ, въ какомъ размѣрѣ, или на какой промежутокъ времени, захватъ властительной Смерти можетъ быть задержанъ даннымъ процессомъ. Были еще и другіе пункты, нуждавшіеся въ удостовѣреніи, но вопросы, мною отмѣченные, наиболѣе возбуждали мое любопытство — въ особенности послѣдній, благодаря громадной важности его послѣдствій.

Отыскивая вокругъ себя какого-нибудь субъекта, съ помощью котораго я могъ бы изслѣдовать эти вопросы, я невольно подумалъ о Мистерѣ Эрнестѣ Вальдемарѣ, весьма извѣстномъ компиляторѣ, сотрудникѣ „*Bibliotheca Forensica*“, и авторѣ польскихъ переводовъ „Валленштейна“ и „Гаргантюа“ (изданныхъ подъ псевдонимомъ Иссахара Маркса). Мистеръ Вальдемаръ, жившій съ 1839 года преимущественно въ Гарлемѣ, Нью-Йоркѣ, особенно достопримѣчателенъ (или былъ достопримѣчателенъ) своей необыкновенной худобой — нижняя часть его тѣла имѣла большое сходство съ тѣломъ Джона Рандольфа; онъ выдавался также своими бѣлыми бакенбардами, которыя были такимъ рѣзкимъ контрастомъ по отношенію къ его чернымъ волосамъ, что эти послѣдніе почти всѣ принимали за парикъ. Его темпераментъ отличался крайней нервозностью, и дѣлалъ его субъектомъ очень удобнымъ для месмерическихъ опытовъ. Два или три раза, при случаѣ, я заставилъ его заснуть безъ большихъ затрудненій, но былъ разочарованъ относительно другихъ результатовъ, достиженіе которыхъ представлялось мнѣ вѣроятнымъ въ силу особенностей его тѣлосложенія. Его воля никогда не подчинялась моему контролю положительно или всецѣло, а что касается *ясновидѣнія*, я не могъ достигъ въ опытахъ съ нимъ ничего, на что можно было рассчитывать. Я всегда приписывалъ та-

кія неудачи разтросниому состоянію его здоровья. За нѣсколько мѣсяцевъ, передъ тѣмъ какъ я съ нимъ познакомился, его врачи констатировали вполне опредѣлившуюся чахотку. Нужно замѣтить, что онъ имѣлъ привычку говорить совершенно спокойно о своей приближающейся смерти, какъ о вещи, которой нельзя избѣжать и о которой не слѣдуетъ сожалѣть.

Когда мнѣ пришла въ голову вышеуказанная мысль, я, весьма понятно, долженъ былъ тотчасъ же подумать о Мистерѣ Вальдемарѣ. Я слишкомъ хорошо зналъ твердыя философскія убѣжденія этого человѣка, чтобы ожидать какихъ-нибудь колебаній съ его стороны; кромѣ того, въ Америкѣ у него не было никакихъ родственниковъ, которые могли бы вмѣшаться. Я откровенно высказался передъ нимъ по этому вопросу, и къ моему удивленію онъ выразилъ самый живой интересъ. Я говорю, къ моему удивленію; потому что, хотя Мистеръ Вальдемаръ всегда любезно предоставлялъ себя въ мое распоряженіе для месмерическихъ опытовъ, онъ никогда раньше не выказывалъ по отношенію къ этимъ послѣднимъ никакихъ признаковъ сочувствія. Характеръ его болѣзни давалъ возможность точно опредѣлять время смерти; и между нами было въ концѣ концовъ условлено, что онъ пошлетъ за мной приблизительно за двадцать четыре часа до того времени, которое его доктора опредѣляютъ, какъ срокъ смерти.

Вотъ уже слишкомъ семь мѣсяцевъ, какъ я получилъ отъ самого мистера Вальдемара слѣдующую записку:

„Мой милый П—,

„Теперь приходите,

Д— и Ф— оба говорятъ, что, самое большее, я дотяну до завтрашней полночи; я полагаю, что они вполне правы.

„Вальдемаръ“.

Я получилъ эту записку черезъ полчаса послѣ того, какъ она была написана, и не далѣе какъ черезъ четверть часа былъ въ комнатѣ умирающаго. Я не видалъ его де-

сять дней, и ужаснулся при видѣ страшной переменѣ, происшедшей въ немъ за этотъ краткій промежутокъ времени. Лицо его было свинцоваго цвѣта; глаза совершенно потускнѣли; исхуданіе было до такой степени велико, что кожа лопнула на скулахъ. Отдѣленіе мокроты было необыкновенно сильно. Пульсъ былъ едва замѣтенъ. И тѣмъ не менѣе онъ замѣчательно владѣлъ еще какъ своими умственными способностями, такъ, до извѣстной степени, и физической силой. Онъ говорилъ отчетливо — принималъ безъ посторонней помощи разныя лѣкарства — и, когда я вошелъ въ комнату, былъ занятъ занесеніемъ какихъ-то замѣтокъ въ памятную книжку. Онъ весь былъ обложенъ подушками. Около больного находились Доктора Д— и Ф—

Поздоровавшись съ Вальдемаромъ, я отвелъ этихъ джентльменовъ въ сторону, и получилъ отъ нихъ точный отчетъ о состояніи больного. Лѣвое легкое уже восемнадцать мѣсяцевъ было въ состояніи полуокостенѣломъ или хрящеватомъ, и, конечно, было совершенно негодно для какихъ-либо жизненныхъ цѣлей. Правое, въ своей верхней части, также мѣстами, если не всецѣло, окостенѣло, въ то время какъ нижняя часть представляла изъ себя массу гнойныхъ бугорковъ, которые переходили одинъ въ другой. Существовало нѣсколько глубокихъ прободеній, и въ одномъ мѣстѣ наступило прочное приращеніе къ ребрамъ. Эти явленія въ правой лопасти были сравнительно недавняго происхожденія. Процессъ окостенѣнія развивался съ необыкновенной быстротой; еще мѣсяць тому назадъ не было ни одного симптома, а приращеніе было замѣчено только въ теченіи трехъ послѣднихъ дней. Независимо отъ чахотки, доктора подозрѣвали аневризмъ аорты; но касательно даннаго обстоятельства симптомы окостенѣнія дѣлали невозможнымъ какой-либо точный діагнозъ. Оба врача полагали, что Мистеръ Вальдемаръ долженъ умереть около полуночи на слѣдующій день (Воскресенье). Тогда была Суббота, семь часовъ пополудни.

Отходя отъ постели больного для бесѣды со мной, Доктора Д— и Ф— простились съ нимъ окончательно. Они больше уже не имѣли намѣренія возвращаться; но по моей просьбѣ согласились взглянуть на паціента около десяти часовъ въ слѣдующую ночь.

Когда они ушли, я сталъ свободно говорить съ Мистеромъ Вальдемаромъ относительно приближающейся смерти и, съ болѣею подробностью, о предположенномъ опытѣ. Онъ попрежнему высказалъ полное согласіе, и даже выразилъ настойчивое желаніе, торопилъ меня начать опытъ тотчасъ-же. Въ комнатѣ было двое слугъ-сидѣлокъ, мужчина и женщина, но я не рѣшался предпринимать такую важную задачу безъ другихъ болѣе надежныхъ свидѣтелей, имѣя въ виду возможность какого-нибудь внезапнаго осложненія. Я отложилъ поэтому опытъ до восьми часовъ слѣдующей ночи, когда приходъ студента-медика, съ которымъ я былъ немного знакомъ (Мистеръ Теодоръ Л—ль), долженъ былъ освободить меня отъ дальнѣйшихъ затрудненій. Сперва я намѣревался подождать врачей; но я долженъ былъ начать немедленно, во-первыхъ, благодаря настойчивымъ просьбамъ Мистера Вальдемара, во-вторыхъ—благодаря и моему собственному убѣжденію, что нельзя было терять ни минуты, такъ какъ онъ, очевидно, быстро угасалъ.

Мистеръ Л—ль былъ настолько добръ, что согласился исполнить мое желаніе заносить замѣтки обо всемъ, что должно было происходить: именно изъ его замѣтокъ я теперь и составляю, главнымъ образомъ, данный рассказъ, предлагая ихъ въ болѣе сжатомъ видѣ, мѣстами же, переписывая *дословно*.

Было приблизительно безъ пяти минутъ восемь, когда, взявъ паціента за руку, я попросилъ его подтвердить мистеру Л—лю возможно отчетливѣе, что онъ (Мистеръ Вальдемаръ), находясь въ данныхъ обстоятельствахъ, имѣетъ собственное желаніе подвергнуться съ моей стороны мѣрическому опыту.

Онъ отвѣчалъ слабымъ, но совершенно внятнымъ голосомъ: „Да, я хочу подвергнуться месмерическому опыту“ — и тотчасъ же прибавилъ: „я боюсь только, что вы слишкомъ долго медлили“.

Въ то время какъ онъ говорилъ, я началъ пассы въ дѣйствиі которыхъ на него я уже имѣлъ случай убѣдиться. Первое же косвенное движеніе моей руки, прошедшее вдоль его лба, оказало видимое вліяніе; но, хотя я напрягалъ все силы, я не могъ получить никакого другого видимаго эффекта до начала одиннадцатаго, когда, согласно уговору, пришли Доктора Д— и Ф—. Въ немногихъ словахъ я объяснилъ имъ мои намѣренія, и, такъ какъ они не дѣлали никакихъ возраженій, говоря, что пациентъ уже находится въ предсмертной агоніи, я продолжалъ безъ колебаній — перемѣнивъ, однако, боковые пассы на продольные, и устремляя мой взглядъ всецѣло на правый глазъ умирающаго.

Въ это время его пульсъ былъ совсѣмъ неощутимъ, а дыханіе сопровождалось хрипомъ, и перерывалось паузами въ полминуты.

Въ такомъ положеніи онъ находился почти безъ всякихъ измѣненій въ теченіи четверти часа. По истеченіи этого промежутка времени изъ груди его вырвался вздохъ, правда естественный, но чрезвычайно глубокій, и звуки хрипа прекратились — точнѣе говоря, хрипъ не былъ болѣе слышенъ; паузы не уменьшались. Конечности тѣла были холодны какъ ледъ.

Безъ пяти минутъ въ одиннадцать я замѣтилъ несомнѣнные признаки месмерическаго воздѣйствія. Вращеніе стекловиднаго глаза смѣнилось выраженіемъ того мучительнаго взгляда *внутрь*, который бываетъ только при усыпленномъ бодрствованіи, и ошибиться въ которомъ совершенно невозможно. Нѣсколькими быстрыми боковыми пассами я заставилъ вѣки задрожать, какъ будто они испытывали предчувствіе сна, нѣсколькими новыми пассами я заставилъ

ихъ совершенно закрыться. Однако, я этимъ не удовольствовался, а съ силой продолжалъ свои манипуляціи, при самомъ полномъ напряженіи воли, пока наконецъ мнѣ не удалось заставить всѣ члены спящаго совершенно окоченѣть, предварительно придавъ имъ, повидимому, удобное положеніе. Ноги были вытянуты во всю длину; руки были въ такомъ же положеніи и лежали на постели въ нѣкоторомъ разстояніи отъ поясницы. Голова была чуть-чуть приподнята.

Когда я окончилъ все это, была уже полночь, и я обратился къ присутствующимъ джентльменамъ съ покорнѣйшей просьбой изслѣдовать состояніе Мистера Вальдемара. Послѣ нѣсколькихъ опытовъ они подтвердили, что онъ находится въ необыкновенно-ярко выраженномъ состояніи месмерическаго транса. Любопытство обоихъ врачей было возбуждено до крайности. Докторъ Д—тотчасъ же рѣшилъ остаться около паціента на всю ночь, а Докторъ Ф—простился, сказавъ, что вернется на разсвѣтѣ. Мистеръ Л — ль, сидѣлка и больничный служитель остались.

Мы не тревожили мистера Вальдемара до трехъ часовъ пополночи; тутъ я къ нему приблизился, и увидаль, что онъ находится совершенно въ томъ же самомъ состояніи, какъ прежде, когда Докторъ Ф— уходилъ, т. е. онъ соблюдалъ ту же самую позу; пульсъ былъ неощутимъ; дыханіе было слабо (его едва можно было замѣтить и то только приложивъ зеркало къ губамъ); глаза были закрыты естественнымъ образомъ, всѣ члены были тверды и холодны, какъ мраморъ. И, однако же, общій видъ отнюдь не указывалъ на смерть.

Приблизившись къ Мистеру Вальдемару, я сдѣлалъ нѣкоторое усиліе подвергнуть его правую руку месмерическому вліянію такимъ образомъ, чтобы она слѣдовала за моею, причемъ я дѣлалъ легкіе пассы надъ его тѣломъ. При такихъ опытахъ съ нимъ я никогда раньше не приходилъ

къ успѣшнымъ результатамъ и, конечно, не помышлялъ о нихъ теперь; но къ моему изумленію его правая рука съ большой готовностью, хотя и слабо, послѣдовала за каждаымъ движеніемъ, которое я предназначалъ ей своей рукой. Я рискнулъ обратиться къ нему съ нѣсколькими словами.

„Мистеръ Вальдемаръ“, сказалъ я, „вы спите?“ Отвѣта не послѣдовало, но я замѣтилъ трепеть вокругъ его губъ, и рѣшился повторить вопросъ еще и еще разъ. При третьемъ повтореніи вопроса все его тѣло слегка затрепетало: вѣки раскрылись сами собою настолько, что обнажили бѣлую линію глазного яблока; губы лѣниво зашевелились, и изъ нихъ, едва слышнымъ шопотомъ, проскользнули слова:

„Да,—теперь сплю. Не будите меня!—дайте мнѣ такъ умереть!“

Я пощупалъ его руки и ноги; они были тверды попрежнему. Правая рука, какъ раньше, повиновалась мнѣ, слѣдуя направленію моей руки. Я опять спросилъ усыпленнаго:

„Вы все еще чувствуете боль въ груди, Мистеръ Вальдемаръ?“

Отвѣтъ послѣдовалъ теперь тотчасъ же, но онъ былъ еще менѣе внятенъ, чѣмъ прежде:

„Боли нѣтъ—я умираю“.

Я не счелъ удобнымъ беспокоить его тогда еще, и ничего не было ни сказано, ни сдѣлано до прибытія Доктора Ф—, который пришелъ незадолго до разсвѣта, и выразилъ безграничное удивленіе по поводу того, что пациентъ еще живъ. Пощупавъ пульсъ, и приложивъ зеркало къ его губамъ, онъ попросилъ меня опять обратиться съ вопросомъ къ усыпленному. Я спросилъ:

„Мистеръ Вальдемаръ, вы еще спите?“

Опять прошло нѣсколько минутъ, прежде чѣмъ послѣдовалъ отвѣтъ; и во время этой паузы умирающій, каза-



лось, собиралъ всѣ свои силы, чтобы заговорить. Когда я въ четвертый разъ повторилъ свой вопросъ, онъ проговорилъ очень слабымъ, почти неслышнымъ голосомъ:

„Да, еще сплю — умираю“.

Въ это время врачи высказали мнѣнiе пли, скорѣе, желанiе, чтобы Мистера Вальдемара больше не тревожили въ его теперешнемъ, повидимому спокойномъ, состоянiи, и чтобы такимъ образомъ онъ безъ помѣхи умеръ; всѣ высказали убѣжденiе, что смерть должна послѣдовать черезъ нѣсколько минутъ. Я, однако, рѣшился заговорить съ нимъ еще разъ и повторилъ предъидущiй вопросъ.

Пока я говорилъ, въ лицѣ спящаго произошла рѣшительная пере мѣна. Глаза медленно открылись, зрачки закатились; кожа приняла трупную окраску, походя не столько на пергаментъ, сколько на бѣлую бумагу: и круглыя чачоточныя пятна, до сихъ поръ ярко виднѣвшiяся въ серединѣ обѣихъ щекъ, мгновенно *погасли*. Я употребляю именно это выраженiе, потому что внезапность ихъ исчезновенiя напомнила мнѣ потухающую свѣчу, когда на нее быстро дунешь. Въ то же самое время верхняя губа искривилась, и обнажились зубы, которые она до тѣхъ поръ совершенно закрывала, между тѣмъ какъ нижняя челюсть, издавъ явственный звукъ, отвалилась на нѣкоторое разстоянiе, и такимъ образомъ въ полости широко открытаго рта передъ нами обрисовался вспухшiй и почернѣвшiй языкъ. Я думаю, что всѣ свидѣтели этой сцены были отлично знакомы съ ужасами смерти; но видъ Мистера Вальдемара въ это мгновенiе былъ такъ непостижимо мерзостенъ, что всѣ невольно отшатнулись отъ постели.

Чувствую, что я достигъ теперъ критическаго пункта въ своемъ повѣствованiи: каждый изъ читателей будетъ возмущенъ, рѣшительно никто мнѣ не повѣритъ. Однако, мой долгъ требуетъ, чтобы я продолжалъ безъ всякихъ оговорокъ.

Ни малѣйшаго признака жизни нельзя было больше

усмотрѣть; и, заключивъ, что Мистеръ Вальдемаръ умеръ, мы рѣшили предоставить его попеченію прислуги, какъ вдругъ мы замѣтили, что его языкъ охваченъ сильнымъ движеніемъ вибраціи. Это продолжалось, быть можетъ, въ теченіи минуты; затѣмъ, пѣзъ недвижныхъ и вытянутыхъ челюстей раздался голосъ — такой голосъ, что было бы сумасшествіемъ пытаться описать его. На самомъ дѣлѣ, есть два или три эпитета, которые могутъ быть отчасти примѣнены къ нему; я могъ бы, напримѣръ, сказать, что звукъ былъ грубый, и прерывистый, и глухой; но отвратительность его цѣлаго неопишима по той простой причинѣ, что никогда подобные звуки не оскорбляли человѣческаго слуха. Были, однако, двѣ особенности, которыя, какъ я подумалъ тогда, и какъ продолжаю думать теперь, могутъ считаться краснорѣчивыми при опредѣленіи этой интонаціи — могутъ дать нѣкоторое представленіе объ ея нечеловѣческихъ свойствахъ. Во-первыхъ, голосъ, повидному, достигалъ нашего слуха — по крайней мѣрѣ моего — на отдаленномъ разстояніи, или исходилъ изъ какой-то глубокой подземной пещеры. Во-вторыхъ, голосъ (я боюсь, однако, что не въ силахъ буду сдѣлать мои слова понятными) производилъ на меня такое впечатлѣніе, какое желатиновая или клейкая масса производитъ на чувство осязанія.

Я говорилъ о „звукѣ“ и о „голосѣ“. Я хочу сказать, что звукъ былъ отчетливъ до удивительности — отчетливъ до ужаса. Мистеръ Вальдемаръ *говорилъ* — очевидно, онъ отвѣчалъ на вопросъ, который я предложилъ ему нѣсколько минутъ тому назадъ. Какъ читатель можетъ припомнить, я спросилъ его, продолжаетъ ли онъ спать. Онъ говорилъ теперь:

„Да; — нѣтъ; я *прежде* спалъ — а теперь — теперь — *и мертвъ*“.

Никто изъ присутствовавшихъ не старался скрыть, и не попытался подавить чувство невыразимаго захватывающаго

ужаса, вызваннаго этими немногими словами. Мистеръ Л—ль (студентъ) лишился чувствъ. Сидѣлка и служитель немедленно обратились въ бѣгство, и никакимъ образомъ ихъ нельзя было вернуть въ комнату. Собственные свои впечатлѣнія я и не пытаюсь описывать. Чуть не цѣлый часъ мы безмолвно хлопотали около мистера Л—ля, стараясь возвратить его къ сознанию — и у насъ не вырвалось ни звука. Когда онъ пришелъ въ себя, мы опять стали изслѣдовать состояніе Мистера Вальдемара.

Во всѣхъ отношеніяхъ оно оставалось неизмѣннымъ, съ тѣмъ только исключеніемъ, что зеркало, будучи приложено къ губамъ, не являло больше никакихъ признаковъ дыханія. Попытка пустить кровь изъ руки оказалось неудачной. Я долженъ, кромѣ того, упомянуть, что рука Мистера Вальдемара больше не подчинялась моей волѣ. Я тщетно пытался заставить ее слѣдовать за движеніями моей руки. Единственнымъ несомнѣннымъ указаніемъ на месмерическое вліяніе было теперь только дрожаніе языка, приходившаго въ движеніе, когда я обращался къ Мистеру Вальдемару съ вопросомъ. Этотъ послѣдній, повидимому, дѣлалъ усилія отвѣтить, но у него больше не хватало на это достаточной воли. Къ вопросамъ, предложеннымъ ему не мной, а кѣмъ-нибудь другимъ, онъ, повидимому, оставался совершенно нечувствительнымъ — хотя я пытался приводить каждаго изъ членовъ общества въ месмерическое *соотношеніе* съ нимъ. Я, кажется, рассказалъ теперь все, что необходимо для пониманія того состоянія, въ которомъ находился въ это время усыпленный. Мы пригласили другихъ сидѣлокъ; и въ десять часовъ я вышелъ изъ дому въ обществѣ обоихъ врачей и Мистера Л—ля.

Послѣ полудня мы всѣ опять сошлись посмотреть на пациента. Онъ находился совершенно въ томъ же самомъ состояніи. Мы подвергли обсужденію вопросъ, удобно ли и возможно ли будить его; но безъ большихъ затрудненій всѣ согласились, что это не могло бы привести ни къ ка-

кимъ благимъ результатамъ. Было очевидно, что до сихъ поръ смерть (или то, что обыкновенно называется смертью) была задержана месмерическимъ процессомъ. Всѣмъ намъ казалось несомнѣннымъ, что будить Мистера Вальдемара — это просто-на-просто значило бы упрочить моментъ смерти, или, по крайней мѣрѣ, обусловить быстрое умираніе.

Съ этого времени до конца прошлой недѣли — *пролежухоткѣ времени почти въ семь мѣсяцевъ* — мы продолжали ежедневно собираться въ домѣ Мистера Вальдемара, причемъ время отъ времени сюда сходились также нѣкоторые другіе врачи и кое-кто изъ близкихъ. Все это время усыпленный оставался *совершенно* въ томъ же состояніи, какъ я его описалъ. Надзоръ со стороны сидѣлокъ не прекращался.

Наконецъ, въ послѣднюю Пятницу мы рѣшили сдѣлать опытъ пробужденія, вѣрнѣе — рѣшили попытаться разбудить его; и (быть-можетъ) несчастный результатъ этого опыта именно и послужилъ источникомъ для столькихъ разнообразныхъ толковъ въ частныхъ кружкахъ — толковъ, которые я не могу не отнести на счетъ легковѣрія публики.

Съ цѣлью вывести Мистера Вальдемара изъ состоянія месмерическаго транса, я примѣнилъ обычные пассы. Нѣкоторое время они не сопровождались никакими результатами. Первымъ указаніемъ на возвращеніе къ жизни было то, что радужная оболочка нѣсколько опустилась внизъ. Весьма достопримѣчательно, что это передвиженіе зрачковъ сопровождалось обильнымъ отдѣленіемъ желтоватой сукровицы (изъ-подъ вѣкъ), распространявшей острый и въ высшей степени непріятный запахъ.

Тогда присутствовавшіе внушили мнѣ мысль подчинить месмерическому вліянію руку паціента, какъ я это дѣлалъ раньше. Попытка оказалась неудачной. Докторъ Ф — выразилъ желаніе, чтобы я обратился къ усыпленному съ вопросомъ. Я спросилъ:

„Мистеръ Вальдемаръ, можете-ли вы объяснить намъ, что вы теперъ чувствуете, или чего хотите?“

Чахоточныя пятна мгновенно выступили опять на щекахъ; языкъ затрепеталъ или, вѣрнѣе началъ яростно вращаться во рту (хотя челюсти и губы были попрежнему неподвижны); и, наконецъ, тотъ же самый мерзостный голосъ, который былъ уже мною описанъ, съ силой прорвался:

„Ради Бога! — скорѣе! — скорѣе! — заставьте меня спать — или нѣтъ, скорѣе! — разбудите меня! — скорѣе! — *Я говорю вамъ, что я мертвъ!*“

Я былъ совершенно внѣ себя, и мгновенно оставался въ нерѣшительности, не зная, что мнѣ дѣлать. Сперва я сдѣлалъ попытку успокоить пациента; но послѣ того, какъ мнѣ это не удалось, благодаря полному отсутствію воли, я сталъ дѣлать обратные пассы, и приложилъ всѣ усилія, чтобы разбудить его. Я вскорѣ увидалъ, что эта попытка мнѣ удается — или, по крайней мѣрѣ, мнѣ представилось, что мой успѣхъ будетъ полнымъ; и я увѣренъ, что всѣ находившіеся въ комнатѣ приготовились увидѣть пациента проснувшимся.

Но что произошло въ дѣйствительности, этого не могъ бы ожидать никто на землѣ.

Пока я быстро дѣлалъ месмерическіе пассы, среди бѣшеныхъ возгласовъ: „Мертвъ! мертвъ!“ которые буквально *срывались* — не съ губъ, а съ языка пациента — все тѣло его внезапно — въ теченіи одной минуты, или даже скорѣе — осѣлось — распалось на мелкіе куски — совершенно *сгнило* у меня подъ руками. На кровати, передъ глазами цѣлаго общества, лежала почти жидкая масса — густой омерзительной гнилости.

---

## КОЛОДЕЦЪ И МАЯТНИКЪ.

Impia tortorum longas hic turba furores  
Sanguinis innocui, non satiata, aluit.  
Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro,  
Mors ubi dira fuit vita salusque patent. 1)

[*Четверостишие, составленное для надписи на воротахъ рынка, который предполагалось соорудить на мѣстѣ Якобинскаго клуба въ Парижѣ*].

Я былъ боленъ, боленъ смертельно, благодаря этимъ долгимъ невыносимымъ мукамъ, и когда, наконецъ, они сняли съ меня оковы, и позволили мнѣ сидѣть, я почувствовалъ, что лишаюсь сознанія. Приговоръ, страшный смертный приговоръ, это были послѣднiя слова, которыя съ полной отчетливостью достигли до моего слуха. Потомъ звуки инквизиторскихъ голосовъ какъ бы слились въ одинъ неопредѣленный гулъ, раздававшійся точно во снѣ. Онъ пробудилъ въ моей душѣ представленiе о *круговращенiи*, быть-можетъ, потому, что въ воображенiи моемъ онъ со-

1) Нечестивая толпа мучителей, неудовлетворенная, утоляла здѣсь долговременную фанатическую жажду невинной крови. Нынѣ же при благоденствiи отечества, нынѣ по разрушенiи пещеры погребенiя, жизнь и спасенiе отверсты тамъ, гдѣ была зловѣщая смерть.

четался съ глухимъ рокотомъ мельничнаго колеса. Это ощущение продолжалось лишь нѣсколько мгновений, и вотъ я больше не слышалъ ничего. Но зато, я видѣлъ, и съ какою страшною преувеличенностью! Я видѣлъ губы судей, облеченныхъ въ черныя одѣянiя. Эти губы показались мнѣ бѣлыми—бѣлѣе, чѣмъ листъ бумаги, на которомъ я сейчасъ пишу, — и тонкими, тонкими до забавности; въ нихъ было напряженное выраженiе суровости, непреклонной рѣшительности, и мрачнаго презрѣнiя къ человѣческимъ пыткамъ. Я видѣлъ, что приговоръ, который былъ для меня роковымъ, еще исходитъ изъ этихъ губъ. Я видѣлъ, какъ они искажались, произнося смертельныя слова. Я видѣлъ, какъ они измѣнялись, выговаривая по слогамъ мое имя, и меня охватилъ трепетъ, потому что звука не было слышно. Опьяненный ужасомъ, я видѣлъ, кромѣ того, въ теченiи нѣсколькихъ мгновений, легкiя, едва замѣтныя колебанiя черной обивки, окутывавшей стѣны зала; и потомъ мой взглядъ былъ привлеченъ семью высокими свѣчами, стоявшими на столѣ. Сперва они казались мнѣ милосердными, они представлялись мнѣ бѣлыми стройными ангелами, которые должны были принести мнѣ спасенiе; но тотчасъ же моею душою овладѣвало чувство смертельнаго отвращенiя, и я затрепеталъ всѣми фибрами моего существа, какъ бы прикоснувшись къ проволокѣ гальванической батареи, и ангелы сдѣлались безмысленными призраками, съ головами изъ пламени, и я увидѣлъ, что отъ нихъ мнѣ нечего ждать. И тогда въ мое воображенiе, подобно богатой музыкальной нотѣ, прокралась мысль о томъ, какъ, должно быть, сладко отдохнуть въ могилѣ. Эта мысль овладѣла мною незамѣтно, и, повидимому, прошло много времени, прежде чѣмъ я вновь оцѣнилъ ее, но именно тогда, когда духъ мой, наконецъ, началъ достоюльнымъ образомъ ощущать и лелѣять ее, лица судей, какъ бы волшебствомъ, исчезли передо мной; высокiя свѣчи превратились въ ничто; ихъ пламя погасло совершенно; нахлынула черная тьма; всѣ

ощущенія, какъ показалось мнѣ, поглощались быстрымъ бѣшеннымъ нисхожденіемъ, точно душа опускалась въ Адъ. Затѣмъ молчаніе, тишина, и ночь стали моею вселенной.

Я лишился чувствъ; однако же, я не могу сказать, чтобы всякая сознательность была утрачена. Что именно осталось, я не буду пытаться опредѣлить, не рѣшусь даже описывать; но не все было утрачено. Въ самомъ глубокомъ снѣ не все утрачивается! Въ состояніи бреда — не все! Въ обморокѣ — не все! Въ смерти — не все! даже въ могилѣ не все утрачивается! Иначе нѣтъ безсмертія для человѣка. Пробуждаясь отъ самаго глубокаго сна, мы порываемъ тонкую, какъ паутина, ткань *какого-то* сна. И секунду спустя (настолько, быть-можетъ, воздушна была эта ткань) мы уже не помнимъ того, что намъ снилось. Когда мы возвращаемся къ жизни послѣ обморока, въ нашихъ ощущеніяхъ есть двѣ ступени; во-первыхъ, ощущеніе умственного или духовнаго существованія; во-вторыхъ, ощущеніе существованія тѣлеснаго. Весьма вѣроятно, что, если бы, достигнувъ второй ступени, мы могли вызвать въ нашей памяти впечатлѣнія первой, мы нашли бы эти впечатлѣнія краснорѣчиво переполненными воспоминаніями о безднѣ, находящейся по ту сторону нашего бытія. И эта бездна—что она такое? Какимъ образомъ, въ концѣ концовъ, можемъ мы отличить ея тѣни отъ тѣней могильныхъ? Но, если впечатлѣнія того, что я назвалъ первой ступенью, не могутъ быть воссозданы въ памяти произвольно, не приходятъ ли сны къ намъ послѣ долгаго промежутка сами собою, между тѣмъ какъ мы удивляемся, откуда они пришли? Кто никогда не лишился чувствъ, тотъ не принадлежитъ къ числу людей, которые видятъ въ пылающихъ угляхъ странные чертоги и безумно-знакомыя лица; онъ не видитъ, какъ въ воздухѣ витаютъ печальныя видѣнія, которыя зримы лишь немногимъ; онъ не будетъ размышлять подолгу объ ароматѣ какого-нибудь новаго цвѣтка; его умъ не будетъ заворожень особеннымъ значе-



ніемъ какого-нибудь музыкальнаго ритма, который раньше никогда не привлекалъ его вниманія.

Среди неоднократныхъ и тщательныхъ попытокъ вспомнить о томъ, что было, среди упорныхъ стараній уловить какой-нибудь лучъ, который озарилъ бы кажущееся небытіе, охватившее мою душу, были мгновенья, когда мнѣ казалось, что [попытки мои увѣнчаются успѣхомъ; были краткіе, очень краткіе, промежутки, когда силой заклинанія я вызывалъ въ своей душѣ воспоминанья, и разсудокъ мой, бѣвшій трезвымъ въ этотъ второй періодъ, могъ отнести ихъ только къ періоду кажущейся безсознательности. Эти неясныя тѣни, выросшія въ моей памяти, заставляютъ меня смутно припомнить о высокихъ фигурахъ, которыя подняли меня и молчаливо понесли внизъ—все ниже—все ниже—пока наконецъ мною не овладѣло отвратительное головокруженіе, при одной только мысли о безконечномъ нисхожденіи. Эти неясныя тѣни говорятъ также о смутномъ ужасѣ, охватившемъ мое сердце, благодаря тому, что это сердце было такъ неестественно спокойно. Затѣмъ слѣдуетъ чувство внезапной неподвижности, оцѣпившей все кругомъ; какъ будто бы тѣ призраки, которые несли меня (чудовищный кортежъ!), въ своемъ нисхожденіи, вышли за границы безграничнаго, и стали, побѣжденные трудностью своей задачи. Затѣмъ я припоминаю ощущеніе чего-то плоскаго и сырого; и послѣ этого все дѣлается *безуміемъ*—безуміемъ памяти, бьющейся въ запретномъ.

Совершенно внезапно въ душу мою опять проникли ощущенія звука и движенія—это бѣшено билось мое сердце, и слухъ воспринималъ звукъ его біенія. Потомъ слѣдуетъ промежутокъ, впечатлѣніе котораго совершенно стерлось. Потомъ опять звукъ, и движеніе, и прикосновеніе къ чему-то, и ощущеніе трепета, захватывающее меня всецѣло. Потомъ сознаніе, что я живъ, безъ всякой мысли—состояніе, продолжавшееся долго. Потомъ, совершенно внезапно, *мысль*, и паническій ужасъ, и самая настойчивая попытка

понять, въ какомъ положеніи я нахожусь. Потомъ страстное желаніе ничего не ощущать. Потомъ быстрое возрожденіе души, и попытка, удавшаяся, сдѣлать какое-нибудь движеніе. И вотъ у меня встаетъ ясное воспоминаніе о допросѣ, о судьяхъ, о черной стѣнной обивкѣ, о приговорѣ, о недомоганіи, объ обморокѣ. Затѣмъ полное забвеніе всего, что было дальше; объ этомъ мнѣ удалось вспомнить позднѣе, лишь смутно и съ помощью самыхъ упорныхъ попытокъ.

До сихъ поръ я не открывалъ глазъ. Я чувствовалъ, что лежу на спинѣ, безъ оковъ. Я протянулъ свою руку, и она тяжело упала на что-то сырое и твердое. Въ такомъ положеніи я держалъ ее нѣсколько долгихъ минутъ, стараясь въ то же время понять, гдѣ я и *что же* со мною произошло. Мнѣ очень хотѣлось открыть глаза, но я не смѣлъ. Я боялся перваго взгляда на окружающіе предметы. Не то меня пугало, что я могу увидѣть что-нибудь страшное, меня ужасала мысль, что я могу не увидеть *ничего*. Наконецъ, съ безумнымъ отчаяніемъ въ сердцѣ, я быстро открылъ глаза. Увы! мои худшія мысли оправдались. Вѣчная ночь окутывала меня своимъ мракомъ. Я почувствовалъ, что задыхаюсь. Непроницаемость мрака, казалось, давила и удушала меня. Воздухъ былъ невыносимо тяжелъ. Я все еще лежалъ неподвижно, и старался овладѣть своимъ разсудкомъ. Я припоминалъ приемы, къ которымъ всегда прибѣгала Инквизиція, и, исходя отсюда, старался вывести заключеніе относительно моего настоящаго положенія. Приговоръ былъ произнесенъ, и мнѣ представлялось, что съ тѣхъ поръ прошелъ очень большой промежутокъ времени. Однако ни на одно мгновеніе у меня не появилось мысли, что я дѣйствительно мертвъ. Подобная догадка, несмотря на то, что мы читаемъ объ этомъ въ романахъ, совершенно несомвѣстима съ реальнымъ существованіемъ; — но гдѣ я былъ и что было со мной? Приговоренные къ смерти, какъ я зналъ, погибали обыкновенно на *auto-da-fes*,

и одинъ изъ осужденныхъ былъ сожженъ какъ разъ въ ту ночь, когда мнѣ былъ объявленъ приговоръ. Не былъ ли я снова брошенъ въ тюрьму для того, чтобы дожидаться слѣдующей казни, которая должна была послѣдовать не ранѣе, какъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ? Я видѣлъ ясно, что этого не могло быть. Жертвы претерпѣвали немедленную кару. Кромѣ того, въ моей тюрьмѣ, какъ и вездѣ въ Толедо въ камерахъ для осужденныхъ, былъ каменный полъ, и въ свѣтѣ не было совершенно отказано.

Страшная мысль внезапно охватила меня, кровь отхлынула къ сердцу, и на нѣкоторое время я опять погрузился въ безчувственность. Придя въ себя, я тотчасъ же вскочилъ на ноги, судорожно трепеща всѣмъ тѣломъ. Какъ сумасшедшій, я сталъ махать руками надъ собой и вокругъ себя, по всѣмъ направленіямъ. Я не ощущалъ ничего; по меня ужасала мысль сдѣлать хотя бы шагъ, я боялся встрѣтить стѣны *гробницы*. Я весь покрылся потомъ, онъ висѣлъ у меня на лбу крупными холодными каплями. Наконецъ пытка неизвѣстности сдѣлалась невыносимой, и я сдѣлалъ осторожное движеніе впередъ, широко раскрывъ руки, и съ напряженіемъ выкатывая глаза, въ надеждѣ уловить хотя бы слабый проблескъ свѣта. Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, но кругомъ была только пустота и тьма. Я вздохнулъ свободнѣе. Повидимому, было несомнѣнно, что меня, по крайней мѣрѣ, не ожидала участь самая ужасная.

И въ то время какъ я продолжалъ осторожно ступать впередъ, на меня нахлынули беспорядочной толпой воспоминанія, множество смутныхъ разсказовъ объ ужасахъ, совершающихся въ Толедо. О здѣшнихъ темницахъ разсказывались необыкновенныя вещи — я всегда считалъ ихъ выдумками — вещи настолько странныя и страшныя, что ихъ можно повторять только шопотомъ. Было ли мнѣ суждено погибнуть отъ голода въ этомъ черномъ подземельи: или, быть-можетъ, меня ожидала участь еще болѣе страшная? Я слишкомъ хорошо зналъ характеръ моихъ судей,

чтобы сомнѣваться, что въ результатѣ должна была явиться смерть, и смерть—какъ нѣчто изысканное по своей жестокости. Единственно, что меня занимало или мучило — это мысль, въ какой формѣ придетъ смерть, и когда.

Мои протянутыя руки наткнулись, наконецъ, на какое-то твердое препятствіе. Это была стѣна, повидимому, каменная—очень гладкая, скользкая, и холодная. Я пошелъ вдоль ея, ступая съ крайней осторожностью, внушенной мнѣ старинными рассказами. Однако, этотъ приѣмъ не доставилъ мнѣ никакой возможности изслѣдовать размѣры моей тюрьмы; я могъ обойти стѣну и вернуться къ мѣсту, откуда я пошелъ, не замѣчая этого, настолько однообразна была эта стѣна. Тогда я потянулся за ножомъ, который былъ у меня въ карманѣ, когда я былъ введенъ въ инквизиціонный залъ, но онъ исчезъ; платье было переобмѣнено на халатъ изъ грубой саржи. У меня была мысль воткнуть лезвие въ какую-нибудь небольшую трещину и такимъ образомъ прочно установить исходную точку. Трудность, однако, была самая пустячная, хотя при разстройствѣ моей умственной дѣятельности она показалась мнѣ сначала непреодолимой. Я оторвалъ отъ халата часть обшивки, и положилъ этотъ кусокъ во всю длину къ стѣнѣ, подъ прямымъ угломъ. Идя наощупь и обходя тюрьму кругомъ, я не могъ не дойти до этого обрывка, совершивъ полный кругъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, я рассчитывалъ, но я не принялъ во вниманіе ни возможныхъ размѣровъ тюрьмы, ни собственной слабости. Почва была сырая и скользкая. Невѣрными шагами, я шелъ нѣкоторое время впередъ, потомъ споткнулся и упалъ. Крайнее утомленіе побудило меня остаться въ этомъ распростертомъ положеніи, и вскорѣ мною овладѣлъ сонъ.

Проснувшись и протянувъ свою руку впередъ, я нашелъ около себя хлѣбъ и кружку съ водой. Я былъ слишкомъ истощенъ, чтобы размышлять, и съ жадностью принялся пить и ѣсть. Вскорѣ послѣ этого я опять принялся

огнѣть тюрьму и съ большими трудностями пришелъ, наконецъ, къ куску саржи. До того мгновенія, какъ я упалъ, я насчиталъ пятьдесятъ два шага, а послѣ того, какъ продолжилъ свое изслѣдованіе, мнѣ пришлось сдѣлать еще сорокъ восемь шаговъ, прежде чѣмъ я дошелъ до обрыва. Въ общемъ, значить, получилось сто шаговъ; и, допуская, что два шага составляютъ ярдъ, я предположилъ, что тюрьма простирается на пятьдесятъ ярдовъ въ своей окружности. Я натолкнулся, однако, на множество угловъ и такимъ образомъ не могъ узнать, какую форму имѣетъ сводъ, мнѣ показалось только, что это именно сводъ.

Мнѣ, конечно, мало было пользы дѣлать подобныя изысканія: никакой надежды, разумѣется, не могло быть съ этимъ связано, но смутное любопытство побуждало меня продолжать ихъ. Оставивъ стѣну, я рѣшился пересѣчь площадь тюрьмы. Сперва я ступалъ съ крайними предосторожностями, потому что, хотя полъ и былъ сдѣланъ, повидимому, изъ солиднаго матеріала, тѣмъ не менѣе, онъ отличался предательской скользкостью. Потомъ, однако, я сталъ смѣлѣе, и уже ступалъ твердо, безъ колебаній, пытаюсь пересѣчь тюрьму по прямой линіи, насколько это было для меня возможно. Я сдѣлалъ такимъ образомъ шаговъ десять-двѣнадцать, какъ вдругъ оставшаяся часть полуоборванной обшивки халата запуталась у меня между ногъ. Я наступилъ на нее и упалъ прямо лицомъ внизъ.

Въ замѣшательствѣ паденія я не могъ сразу замѣтить одного поразительнаго обстоятельства, которое, тѣмъ не менѣе, не замедлило привлечь мое вниманіе черезъ нѣсколько секундъ, пока я еще продолжалъ лежать распростертый во всю длину. Дѣло въ томъ, что мой подбородокъ находился на полу тюрьмы, но губы и верхняя часть головы не прикасались ни къ чему, хотя, повидимому, они были на болѣе низкомъ уровнѣ, чѣмъ подбородокъ. Въ то же самое время мой лобъ, казалось, былъ окутанъ какимъ-то клейкимъ испареніемъ, и своеобразный запахъ гниющихъ

грибковъ поразилъ мое обоняніе. Я протянулъ передъ собою руку, и содрогнулся, увидя, что упалъ на самомъ краю круглаго колодца, размѣровъ котораго я, конечно, не могъ опредѣлить въ ту минуту. Ощупывая каменную кладку надъ самымъ краемъ, я смогъ оторвать небольшою обломкомъ и бросилъ его въ пропасть. Въ теченіи нѣсколькихъ секундъ я вслушивался въ звуки камня, ударившагося о стѣну пропасти въ своемъ нисхожденіи; наконецъ, онъ мрачно булькнулъ въ воду, и этотъ звукъ былъ повторенъ громкимъ эхомъ. Въ тотъ же самый моментъ послышался другой звукъ, точно надо мной мгновенно открылась и закрылась дверь, между тѣмъ какъ слабый отблескъ свѣта быстро скользнулъ во тьмѣ и такъ же быстро исчезъ.

Я ясно увидѣлъ, какая участь была приготовлена для меня, и поздравилъ себя со счастливою случайностью, благодаря которой избѣжалъ ея. Еще шагъ, и меня не было бы въ живыхъ; и эта смерть отличалась именно такимъ характеромъ, что я считалъ пустою выдумкой, когда о ней говорилось въ разсказахъ, касавшихся Инквизиціи. Для жертвъ ея тиранніи была избираема смерть или съ самыми жестокими физическими муками, или съ самыми отвратительными нравственными ужасами. Мнѣ было предназначено послѣднее. Благодаря долгимъ страданіямъ, нервы мои были напряжены до такой стпени, что я содрогался при звукахъ собственнаго голоса, и сдѣлался субъектомъ во всѣхъ смыслахъ подходящимъ для ожидавшихъ меня пытокъ.

Трепеща всѣмъ тѣломъ, я наощупъ пошелъ назадъ къ стѣнѣ—рѣшаясь скорѣе умереть тамъ, нежели подвергаться опасности познакомиться съ ужасами колодцевъ, цѣлос множество которыхъ моя фантазія нарисовала мнѣ вокругъ меня въ разныхъ мѣстахъ тюрьмы. При другомъ состояніи разсудка я имѣлъ бы мужество окончить свои бѣды сразу, бросившись въ одну изъ пучинъ; но тогда я былъ самымъ жалкимъ изъ трусовъ. Я не могъ также забыть того, что

читалъ объ этихъ колодцахъ — именно, что *внезапная* смерть не составляла задачи ихъ чудовищнаго устройства.

Душевное возбужденіе продержало меня въ состояніи бодрствованія въ теченіи долгихъ часовъ; но наконецъ я опять заснулъ. Проснувшись, я нашелъ около себя, какъ прежде, хлѣбъ и кружку съ водой. Меня мучила страшная жажда, и я выпилъ всю воду сразу. Она, должно-быть, была смѣшана съ какимъ-нибудь составомъ, потому что, едва я ее выпилъ, какъ мною овладѣла непобѣдимая сонливость. Я погрузился въ глубокой сонъ — въ сонъ, подобный смерти. Какъ долго онъ продолжался, я не могу, конечно, сказать; но, когда я опять раскрылъ глаза, окружающіе предметы были видимы. Благодаря странному сѣрнистому сіянію, происхожденіе котораго я сперва не могъ опредѣлить, я могъ видѣть размѣры и внѣшнія очертанія тюрьмы.

Я сильно ошибся касательно ея величины; вся окружность стѣнъ не превосходила двадцати пяти ярдовъ. Это обстоятельство на нѣсколько минутъ наполнило меня цѣлымъ множествомъ напрасныхъ тревогъ; поистинѣ напрасныхъ — ибо при страшныхъ обстоятельствахъ, подъ властью которыхъ я находился, могло-ли быть что-нибудь менѣе важное, нежели размѣръ моей тюрьмы? Но душа моя страннымъ образомъ услаждалась пустяками, и я ревностно пытался объяснить себѣ свою ошибку. Наконецъ, истина внезапно открылась мнѣ. Когда я въ первый разъ предпринялъ свои изслѣдованія, я насчиталъ пятьдесятъ два шага до того времени, какъ упалъ; я долженъ былъ тогда находиться шага за два отъ куска саржи; въ дѣйствительности, я уже почти обошелъ весь сводъ. Потомъ я уснулъ, и, проснувшись, пошелъ назадъ по пройденному пути, и такимъ образомъ рѣшилъ, что окружность тюрьмы была вдвое болѣе противъ своихъ дѣйствительныхъ размѣровъ. Смутное состояніе моего разсудка помѣшало мнѣ замѣтить, что, когда я началъ свое изслѣдованіе, стѣна была у меня слѣва, а когда кончилъ, она была справа.

Я обманулся также и относительно формы тюрьмы. Ощупывая дорогу, я нашелъ много угловъ и отсюда вывелъ представление о большой неправильности. Такъ велика власть полной темноты, когда она оказываетъ свое дѣйствіе на человѣка, пробуждающагося отъ летаргіи или отъ сна! Углы представляли изъ себя ничто иное, какъ нѣкоторыя небольшія пониженія уровня или ниши, находившіяся на неровныхъ промежуткахъ другъ отъ друга. Общая форма тюрьмы представляла изъ себя четырехугольникъ. То, что я считалъ каменной кладкой, оказалось желѣзомъ, или какимъ-нибудь другимъ металломъ, это были огромные пласты, шивки которыхъ, или смычки, обусловливали пониженіе уровня. Вся поверхность этой металлической загородки была осквернена отвратительными гнусными эмблемами, изобрѣтеніями замогильныхъ монашескихъ суевѣрій. Фигуры угрожающихъ демоновъ, въ формѣ скелетовъ, и другіе образы, болѣе реальные въ своемъ ужасѣ, были всюду разбросаны по стѣнамъ, стѣны были изуродованы ими. Я замѣтилъ, что очертанія этихъ искаженныхъ призраковъ были довольно явственны, но что краски какъ будто были запятнаны дѣйствіемъ сырой атмосферы. Я могъ, кромѣ того, рассмотреть теперь и полъ, онъ былъ изъ камня. Въ самомъ центрѣ зіялъ круглый колодець, отъ пасти котораго я ускользнулъ; но во всей тюрьмѣ онъ былъ единственнымъ.

Все это я видѣлъ неясно и съ большими усиліями, потому что мое внѣшнее положеніе сильно измѣнилось за время сна. Я лежалъ теперь на спинѣ, во всю длину, на какомъ-то деревянномъ срубѣ. Самымъ тщательнымъ образомъ я былъ привязанъ къ нему ремнемъ, похожимъ на священническій поясъ. Проходя кругомъ, онъ облекалъ мои члены и все тѣло, оставляя на свободѣ только голову, а также лѣвую руку, настолько, что я при помощи долгихъ усилій могъ доставать пищу съ глинянаго блюда, стоявшаго около меня на полу. Къ своему ужасу я уви-



дѣлъ, что кружка была отодвинута въ сторону. Я говорю — къ своему ужасу, потому что меня терзала невыносимая жажда. Однимъ изъ намѣреній моихъ мучителей было, очевидно, усилить эту жажду: пища, находившаяся на блюдѣ, была сильно просолена.

Устремивъ свои взоры къверху, я сталъ разсматривать потолокъ тюрьмы. Онъ простирался надо мною на высотѣ тридцати или сорока футовъ, и былъ по строенію похожъ на боковыя стѣны. Все мое вниманіе было приковано чрезвычайно странной фигурой, находившейся въ одномъ изъ его панно. Это была фигура Времени, какъ она обыкновенно изображается, съ той только разницей, что вмѣсто косы она держала орудіе, которое при бѣгломъ взглядѣ я счелъ нарисованнымъ изображеніемъ громаднаго маятника, въ родѣ тѣхъ, какіе мы видимъ на старинныхъ часахъ. Было, однако, нѣчто во внѣшнемъ видѣ этого снаряда, что меня заставило взглянуть на него пристальнѣе. Въ то время какъ я смотрѣлъ на маятникъ, устремляя взглядъ прямо надъ собою (ибо онъ находился, дѣйствительно, какъ разъ надо мной), мнѣ почудилось, что онъ движется. Въ слѣдующее мгновеніе мое впечатлѣніе оправдалось. Онъ покачивался короткимъ размахомъ, и, конечно, медленно. Я слѣдилъ за нимъ въ теченіи нѣсколькихъ минутъ отчасти съ чувствомъ страха, но болѣе съ чувствомъ удивленія. Утомившись, наконецъ, я отвернулся, и обратилъ свой взглядъ на другіе предметы, находившіеся въ тюрьмѣ.

Легкій шумъ привлекъ мое вниманіе, и, посмотрѣвъ на полъ, я увидалъ нѣсколько огромныхъ крысъ. Они только что вышли изъ колодца, который былъ мнѣ виденъ справа. Въ то самое время, какъ я смотрѣлъ на нихъ, они поспѣшно выходили цѣлой стаей, и сверкали жадными глазами, привлеченныя запахомъ говядины. Мнѣ стоило большихъ усилій и большого вниманія, чтобы отогнать ихъ.

Прошло, вѣроятно, полчаса, а, быть-можетъ, и часъ, (я могъ только приблизительно судить о времени), прежде

чѣмъ я опять устремилъ свой взглядъ вверхъ. То, что я увидѣлъ тогда, поразило и смутило меня. Размахъ маятника увеличился въ протяженіи приблизительно на ярдъ. Естественнымъ слѣдствіемъ этого была также большая скорость его движенія. Но что главнымъ образомъ исполнило меня безпокойствомъ, это мысль, что онъ замѣтно *опускается*. Я замѣтилъ теперь, нечего говорить съ какимъ ужасомъ, что нижняя его конечность представляла изъ себя полумѣсяцъ изъ блестящей стали, приблизительно около фута въ длину отъ одного изогнутаго острія до другого; изогнутыя острія обращались вверхъ, а нижній край былъ, очевидно, остеръ какъ бритва. Какъ бритва, полумѣсяцъ представлялся также массивнымъ и тяжелымъ, причемъ онъ суживался, заостряясь вверхъ отъ выгнутаго края, и составляя вверху нѣчто солидное и широкое. Онъ былъ привѣшенъ на массивномъ бронзовомъ стержнѣ, и, разсѣвая воздухъ, издавалъ *свистящій* звукъ.

Я не могъ больше сомнѣваться относительно участи, которую приготовила для меня изысканная жестокость монаховъ. Агентамъ Инквизиціи сдѣлалось извѣстнымъ, что я увидѣлъ колодець — *колодець*, ужасы котораго были умышленно приготовлены для такого смѣлаго и мятежнаго еретика, — *колодець* являющійся первообразомъ ада, и фигурирующій въ смутныхъ легендахъ какъ Ultima Thule всѣхъ инквизиціонныхъ каръ. Паденія въ этотъ колодець я избѣжалъ, благодаря простой случайности, и я зналъ, что дѣлать изъ самыхъ пытокъ ловушку и неожиданность было одной изъ важныхъ задачъ при опредѣленіи всѣхъ этихъ загадочныхъ казней, совершавшихся въ тюрьмахъ. Разъ я самъ избѣжалъ колодца, въ дьявольскій планъ совсѣмъ не входило сошвырнуть меня туда, ибо такимъ образомъ (въ виду отсутствія выбора) меня ожидала иная смерть, болѣе кроткая! *Болѣе кроткая!* Я чуть не улыбнулся, несмотря на свои пытки, при мысли о такомъ примѣненіи этого слова.

Къ чему разсказывать о долгихъ, долгихъ часахъ ужаса болѣе чѣмъ смертельнаго, въ продолженіи которыхъ я считалъ стремительныя колебанія стали! Дюймъ за дюймъ — линія за линіей — она опускалась еле замѣтно — и мгновенія казались мнѣ вѣками — она опускалась все ниже, все ниже и ниже! Шли дни — быть-можетъ, прошло много дней — прежде чѣмъ стальное остріе стало качаться надо мною настолько близко, что уже навѣвало на меня свое ѣдкое дыханіе. Рѣзкій запахъ стали поразилъ мое обоняніе. Я молился — я тѣснилъ небо мольбами: пусть бы она опускалась скорѣе. Мною овладѣло безумное бѣшенство, я старался изо всѣхъ силъ приподняться, чтобы подставить грудь кривизнѣ этой сабли. И потомъ, я внезапно упалъ, совершенно спокойный, и лежалъ, и съ улыбкой смотрѣлъ на смерть въ одеждѣ изъ блѣстокъ, какъ ребенокъ смотритъ на какую-нибудь рѣдкостную игрушку.

Послѣдовалъ новый промежутокъ полного отсутствія чувствительности; онъ былъ недологъ, потому что, когда я опять вернулся къ жизни, въ нисхожденіи маятника не было замѣтнаго измѣненія. Но, быть-можетъ, этотъ промежутокъ времени былъ и дологъ, вѣдь я знаю, тамъ были демоны, они выслѣдили, что я лишился чувствъ; они могли задержать колебаніе маятника, для продленія услады. Кромѣ того, опомнившись, я почувствовалъ себя чрезвычайно слабымъ — о, невыразимо слабымъ и больнымъ, какъ будто я страдалъ отъ долгаго изнуренія. Однако, и среди пытокъ такой агоніи человѣческая природа требовала пищи. Съ тягостнымъ усиленіемъ я протянулъ руку, насколько мнѣ позволяли мои оковы, и захватилъ объѣдки, оставшіяся мнѣ отъ крысъ. Едва я положилъ одинъ изъ кусковъ въ ротъ, какъ въ головѣ моей быстро мелькнула полуявственнаго мысли радости — надежды. Но на что *мнѣ* было надеяться? Какъ я сказалъ, это была полуявственная мысль — у человѣка возникаетъ много мыслей, которымъ не суждено никогда быть законченными. Я почувствовалъ что-то ра-

достное, что-то связанное съ надеждой; но я почувствовалъ также, что эта вспышка мысли, едва блеснувъ, угасла. Напрасно я старался возстановить ее—закончить. Долгія страданія почти совсѣмъ уничтожили самыя обыкновенныя способности разсудка. Я былъ слабоумнымъ — я былъ идіотомъ.

Колебаніе маятника совершалось въ плоскости, составлявшей прямой уголъ съ моимъ вытянутымъ въ длину тѣломъ. Я видѣлъ, что полумѣсяцъ долженъ былъ пересѣчь область моего сердца. Онъ долженъ былъ перетереть саржевый халатъ и снова вернуться и повторить свою операцію—и снова вернуться—и снова вернуться. Несмотря на страшно-широкій размахъ (футовъ тридцать или больше) и свистящую силу нисхожденія, которая могла бы разсѣчь даже эти желѣзныя стѣны, все, что могъ совершить качающійся маятникъ въ теченіи нѣсколькихъ минутъ — это перетереть мое платье; и дойдя до этой мысли, я остановился. Дальше я не смѣлъ идти въ своихъ размышленіяхъ. Вниманіе мое упорно медлило—какъ будто, остановившись на данной мысли, я могъ тѣмъ самымъ остановить нисхожденіе стали именно *здѣсь*. Я старался мысленно опредѣлить характеръ звука, который произведетъ полумѣсяцъ, разсѣкая мой халатъ—опредѣлить особенное напряженное впечатлѣніе, которое будетъ произведено на мои нервы треніемъ ткани. Я размышлялъ обо всѣхъ этихъ пустякахъ, пока они, наконецъ, не надоѣли мнѣ.

Ниже—все ниже сползалъ маятникъ. Я испытывалъ бѣшеное наслажденіе, видя контрастъ между медленностью его нисхожденія и быстротой бокового движенія. Вправо—влѣво — во всю ширину — съ крикомъ отверженнаго духа! Онъ пробирается къ моему сердцу крадущимися шагами тигра! Поперемѣнно я хототалъ и вылъ, по мѣрѣ того какъ надо мной брала перевѣсъ то одна, то другая мысль.

Ниже—неукоснительно, безостановочно ниже! Онъ содрогался на разстояніи трехъ дюймовъ отъ моей груди! Я

метался съ бѣшенствомъ — съ яростью — стараясь высвободить лѣвую руку. Она была свободна только отъ кисти до локтя. Я могъ протянуть ее настолько, чтобы съ большими усилиями дотянуться до блюда и положить кусокъ въ ротъ; только это было мнѣ даровано. Если бы я могъ разорвать оковы выше локтя, я схватилъ бы маятникъ, чтобы задержать его. Я могъ бы съ такимъ же успѣхомъ попытаться задержать лавину!

Ниже — неудержимо — все ниже и ниже! Я задыхался, я бился при каждомъ колебаніи. Я весь съеживался при каждомъ его взмахѣ. Глаза мои слѣдили за вращеніемъ вверхъ и внизъ, съ жадностью самаго бессмысленнаго отчаянія; когда маятникъ опускался внизъ, они сами собою закрывались, какъ бы объятые судорогой, хотя смерть должна была бы принести мнѣ облегченіе, о, какое несказанное! И между тѣмъ я трепеталъ каждымъ нервомъ при мысли о томъ, какого ничтожнаго приближенія этого орудія будетъ достаточно, чтобы сверкающая сталь вонзилась въ мою грудь. Это *надежда* заставляла мои нервы трепетать — понуждала мое тѣло съеживаться. Это была *надежда* — которая торжествуетъ и въ застѣннѣ — шепчется съ приговореннымъ къ смерти даже въ тюрьмахъ Инквизиціи.

Я увидалъ, что десяти или двѣнадцати колебаній будетъ достаточно, чтобы сталь пришла въ непосредственное соприкосновеніе съ моимъ платьемъ, и какъ только я это замѣтилъ, мой умъ внезапно былъ охваченъ безутѣшнымъ спокойствіемъ отчаянія. Въ первый разъ, въ теченіи многихъ часовъ, или, быть-можетъ, дней я *думалъ*. Я понималъ теперь, что ремень или поясъ, связывавшій меня, былъ *сплошнымъ*. Я былъ опутанъ не отдѣльными узлами. Первый ударъ полумѣсяца, подобнаго бритвѣ, долженъ былъ пройти поперекъ какой-нибудь части ремня и раздѣлить его настолько, что я могъ съ помощью лѣвой руки распутать его и откинуть отъ тѣла. Но какъ въ этомъ случаѣ должна быть ужасна близость стали! Послѣдствіе самыхъ

легкихъ усилій насколько смертоносно! И кромѣ того, допустимо ли, чтобы приспѣшники моихъ мучителей не предвидѣли такой возможности и не позаботились сами насчетъ ся? Было ли это вѣроятно, чтобы ремень пересѣкалъ мою грудь въ предѣлахъ колебанія маятника? Боясь, что моя слабая и, повидимому, послѣдняя надежда окажется напрасной, я приподнялъ голову, настолько, чтобы отчетливымъ образомъ осмотрѣть свою грудь. Ремень плотно облегалъ мои члены и тѣло по всѣмъ направлениямъ, *исключая предѣловъ пути убійственнаго полумѣсяца.*

Едва я откинулъ голову назадъ, на прежнее мѣсто, какъ въ умѣ моемъ что-то вспыхнуло, шевельнулось что-то неопредѣленное; мигъ хотѣлось бы назвать это чувство половиннымъ безформеннымъ обрывкомъ той мысли объ освобожденіи, на которую я прежде указывалъ, и лишь половина которой промелькнула у меня въ душѣ своими неясными очертаніями, когда я поднесъ пищу къ пылающимъ губамъ. Теперь вся мысль была налицо—слабая, едва теплящаяся, едва уловимая, но все же цѣльная. Охваченный энергіей отчаянія, я тотчасъ же приступилъ къ ея исполненію.

Вотъ уже нѣсколько часовъ около низкаго сруба, на которомъ я лежалъ, суетились крысы — не суетились, а буквально кишѣли. Дикія, дерзкія, жадныя, они смотрѣли на меня блистающими красными глазами, какъ будто только ждали, когда я буду неподвиженъ, чтобы тотчасъ же сдѣлать меня своей добычей. „Къ какой пищѣ“, подумалъ я, „привыкли они здѣсь, въ колодцѣ?“

Несмотря на всѣ мои старанія отогнать ихъ, они пожрали на блюдѣ почти всю пищу, и тамъ остались только объѣдки. Рука моя привыкла покачиваться вокругъ блюда, и въ концѣ концовъ это однообразное машинальное движеніе перестало оказывать на нихъ какое-нибудь дѣйствіе. Прожорливыя твари нерѣдко вонзали свои острые зубы въ мои пальцы. Оставшимися частицами маслянистаго и пря-

наго мяса я тщательнo натеръ ремень вездѣ, гдѣ только могъ до него дотянуться; потомъ, приподнявъ свою руку отъ пола, я задержалъ дыханіе.

Въ первое мгновеніе алчныя животныя были изумлены и уstraшены перемѣной—испуганы прекращеніемъ движенія. Они бѣшено ринулись прочь; многія спрятались въ колодець. Но это продолжалось одинъ мигъ. Я не напрасно рассчитывалъ на ихъ прожорливость. Видя, что я былъ неподвиженъ, двѣ-три крысы рискнули вскочить на срубъ и начали обнюхивать ремень. Это было какъ бы сигналомъ для всей стаи. Крысы бѣшено бросились впередъ. Изъ колодца устремились новыя толпы. Они цѣплялись за срубъ, они взбирались на него, они сотнями бѣгали по моему тѣлу. Размѣренное движеніе маятника нимало ихъ не тревожило. Избѣгая его ударовъ, они ревностно занялись уничтоженіемъ ремня. Они лѣзли одна на другую, они кишѣли на мнѣ, собираясь все новыми грудями. Они судорожно ползали по моему горлу; ихъ холодныя губы встрѣчались съ моими; я наполовину задохся подъ этой живой кучей; грудь моя наполнилась отвращеніемъ, которому на свѣтѣ нѣтъ имени, и сердце похолодѣло отъ ощущенія чего-то тяжелаго и скользкаго. Но еще минута, и я почувствовалъ, что сейчасъ все кончится. Я совершенно явственно ощущалъ ослабленіе моихъ цуть. Я зналъ, что уже въ нѣсколькихъ мѣстахъ ремень былъ разъединенъ. Охваченный сверхчеловѣческой энергіей, я *еще* лежалъ.

Не ошибся я въ своихъ расчетахъ, не тщетно ждалъ. Наконецъ я почувствовалъ, что теперь я *свободенъ*. Ремень лохмотьями свѣшивался съ моего тѣла. Но уже ударъ маятника тѣснилъ мою грудь. Уже онъ перетеръ саржевый халатъ. Уже онъ разрѣзалъ холстъ внизу. Еще дважды качнулся маятникъ вправо и влево, и чувство острой боли дернуло меня за каждый нервъ. Но мигъ спасенія насталъ. Я махнулъ рукой, и мои спасители стремительно бросились прочь. Осторожно отодвигаясь въ бокъ, медленно съежива-

ясь и осѣдая, я выскользнулъ изъ объятій перевязи и изъ предѣловъ губительнаго лезвія. Хотя на мигъ, наконецъ я *былъ свободенъ*.

Свободенъ!—и въ когтяхъ Инквизиціи! Едва я отошелъ отъ моего деревяннаго ложа пытки и ужаса, едва я ступилъ на каменный полъ тюрьмы, какъ движеніе дьявольскаго орудія прекратилось, и я увидалъ, что оно было втянуто вверхъ черезъ потолокъ дѣйствіемъ какой-то невидимой силы. Это наблюденіе наполнило мое сердце отчаяніемъ. Не было сомнѣнія, что каждое мое движеніе выслѣживали. Свободенъ! — Я ускользнулъ отъ смерти, являвшейся въ формѣ страшной пытки, чтобы испытать терзанія какихъ-нибудь новыхъ пытокъ, еще болѣе страшныхъ, чѣмъ смерть. При этой мысли я судорожно выкатывалъ глаза и бессмысленно смотрѣлъ на желѣзныя стѣны, стоявшія непроницаемыми преградами. Что-то необыкновенное произошло въ тюрьмѣ—какая-то очевидная и странная перемѣна, которую я сначала не могъ должнымъ образомъ опредѣлить. Въ теченіи нѣсколькихъ минутъ размышленія, похожаго на сонъ и исполненнаго трепета, я тщетно старался разобратъся въ безсвязныхъ догадкахъ. Тутъ я впервые понялъ, откуда происходилъ сѣрнистый свѣтъ, освѣщавшій тюрьму. Онъ проходилъ сквозъ трещину, приблизительно въ полдюйма ширины, простиравшуюся кругомъ всей тюрьмы и находившуюся въ основаніи стѣнъ, которыя, такимъ образомъ, были совершенно отдѣлены отъ пола. Я попытался, но, конечно, напрасно, посмотрѣть сквозъ расщелину.

Когда я приподнялся, тайна перемѣны, происшедшей кругомъ, сразу предстала моимъ взорамъ. Я видѣлъ, что, хотя очертанія фигуръ, находившихся на стѣнахъ, были въ достаточной степени явственны, краски представлялись однако-же поблекшими и неопредѣленными. Эти краски начали теперь блистать самымъ поразительнымъ рѣзкимъ свѣтомъ, блескъ съ минуты на минуту все усиливался, и



придавалъ стѣннымъ фантомамъ такой видъ, который могъ бы потрясти нервы и болѣе крѣпкіе, чѣмъ мои. Вездѣ кругомъ, гдѣ раньше ничего не было видно, блистали теперь дьявольскіе глаза; они косились на меня съ отвратительной, дикой напряженностью, они свѣтились мертвеннымъ огнистымъ сіяніемъ, и я напрасно старался принудить себя считать этотъ блескъ нереальнымъ.

*Нереальнымъ!*—Мнѣ достаточно было втянуть въ себя струю воздуха, чтобы мое обоняніе ощутило паръ, исходившій отъ раскаленнаго желѣза! Удушливый запахъ наполнилъ тюрьму! Блескъ, все болѣе яркій, съ каждымъ мигомъ укрѣплялся въ глазахъ, взиравшихъ на мои пытки! Багряный цвѣтъ все болѣе и болѣе распространялся по этимъ видѣніямъ, по этимъ разрисованнымъ кровью ужасамъ. Я едва стоялъ на ногахъ! Я задыхался! Не оставалось ни малѣйшихъ сомнѣній касательно намѣреній моихъ мучителей — о, безжалостные палачи! о, ненавистные изверги! Я отшатнулся отъ плававшего металла, отступилъ къ центру тюрьмы. Передъ ужасомъ быть заживо сожженнымъ, мысль о холодныхъ водахъ колодца наполнила мою душу бальзамомъ. Я бросился къ его губительному краю. Я устремилъ свой напряженный взглядъ внизъ. Блескъ, исходившій отъ распаленнаго свода, освѣщалъ самые отдаленные уголки. Но одинъ безумный мигъ — и душа моя отказалась понять значеніе того, что я видѣлъ. Наконецъ, это *ничто* вошло въ мою душу — втѣснилось, ворвалось въ нее — огненными буквами запечатлѣлось въ моемъ трепещущемъ умѣ. О, дайте словъ, дайте словъ, чтобы высказать все это! — какой ужасъ! — о, любой ужасъ, только не этотъ! Съ крикомъ я отбросился назадъ отъ края колодца — и, закрывъ лицо руками, горько заплакалъ.

Жаръ быстро увеличивался, и я опять взглянулъ вверхъ, охваченный лихорадочной дрожью. Вторичная перемѣна произошла въ тюрьмѣ, и теперь эта перемѣна очевидно касалась

ей формы. Какъ и прежде, я сначала напрасно пытался опредѣлить, въ чемъ состояла перемѣна, или понять, откуда она происходила. Но я не долго оставался въ неизвѣстности Инквизиторская мечь спѣшила, будучи раздражена моимъ вторичнымъ спасеніемъ, и больше уже нельзя было шутить съ Властителемъ Ужасовъ. Тюремная камера представляла изъ себя четырехугольникъ. Я видѣлъ, что два желѣзные угла этого четырехугольника были теперь острыми—два, понятно, тупыми. Страшная перемѣна быстро увеличивалась, причѣмъ раздавался глухой, стонущій гулъ. Въ одно мгновеніе тюрьма приняла форму косоугольника. Но перемѣна не остановилась на этомъ—я не надѣялся, что она на этомъ остановится, я даже не желалъ, чтобы она остановилась. Я обнялъ бы эти красныя стѣны, я хотѣлъ бы прижать ихъ къ груди своей, какъ одежду вѣчнаго покоя. „Пусть смерть“, говорилъ я, „пусть приходитъ какая угодно смерть, только не смерть отъ утопленія!“ Безумецъ! какъ я могъ не догадываться, что раскаленное желѣзо именно и должно было загнать меня въ колодець? Развѣ я могъ противиться его раскаленности? Или, если бы это было такъ, развѣ я могъ противиться его давленію? А косоугольникъ все сплющивался и сплющивался, у меня не было больше времени для размышлений. Его центръ и, конечно, его самая большая широта приходились какъ разъ надъ зіяющей пучиной. Я отступалъ назадъ—но сходящіяся стѣны безостановочно гнали меня впередъ. Наконецъ, для моего обожженного и корчившагося тѣла оставался не болѣе, какъ дюймъ свободнаго пространства на тюремномъ полу. Я уже не боролся, и агонія моей души проявлялась только въ одномъ громкомъ, долгомъ, и послѣднемъ крикѣ отчаянія. Я почувствовалъ, что колеблюсь на краю колодца—я отвернулъ свои глаза въ сторону—

Тамъ гдѣ-то въ вышинѣ послышался гулъ спорящихъ людскихъ голосовъ! Раздался громкій звукъ, точно воз-

гласъ многихъ трубъ! Послышался рѣзкій грохоть, точно отъ тысячи громовыхъ ударовъ! Огненные стѣны откинулись назадъ! Чья-то рука схватила мою руку, когда, теряя сознаніе, я падалъ въ пучину. То была рука Генерала Лассалья. Французская армія вошла въ Толедо. Инквизиція была въ рукахъ своихъ враговъ.

---

## ВИЛЬЯМЪ ВИЛЬСОНЪ.

„Что будетъ говорить объ этомъ *совѣсть*,  
Суровый призракъ,— блѣдный мой двой-  
никъ?“

*W. Chamberlayn's Pharosmid.*

Да будетъ мнѣ позволено называться въ настоящее время Вильямомъ Вильсономъ. Чистая бумага, лежащая теперь передо мной, не должна быть осквернена моимъ настоящимъ именемъ: оно болѣе, чѣмъ въ достаточной степени, уже послужило для моей семьи источникомъ презрѣнія, ужаса, и отвращенія. И развѣ возмущенные вѣтры не распространили молву о безпримѣрной низости этого имени до самыхъ отдаленныхъ уголковъ земного шара? О, несчастный отверженецъ, самый погибшій изъ отверженцевъ! развѣ ты не мертвъ для земли навсегда? не мертвъ для ея почестей, для ея цвѣтовъ, для ея золотыхъ упованій?— И развѣ между твоими надеждами и небомъ не виситъ вѣчная туча, густая, мрачная, и безграничная?

Я не хотѣлъ-бы, если-бы даже и могъ, записать теперь на этихъ страницахъ разсказъ о моихъ послѣднихъ годахъ, о годахъ невыразимой низости и неизгладимыхъ преступленій. Этотъ періодъ моей жизни внезапно нагромоздилъ такую массу всего отвратительнаго, что теперь моимъ единственнымъ желаніемъ является только—опредѣлить начало

такого паденія. Люди обыкновенно дѣлаются низкими постепенно. Съ меня-же все добродѣтельное спало мгновенно, какъ плащъ. Совершивъ гигантскій прыжокъ, я перешелъ отъ испорченности сравнительно заурядной къ чудовищной извращенности Геліогабала. Пусть - же мнѣ будетъ позволено рассказать, какъ все это произошло благодаря одной случайности, благодаря одному — единственному событію. Смерть приближается, и тѣни, ей предшествующія, исполнили мою душу своимъ благодѣтельнымъ вліяніемъ. Проходя по туманной долинѣ, я томлюсь желаніемъ найти сочувствіе; мнѣ почти хочется сказать, что я жажду вызвать состраданіе въ сердцахъ братьевъ - людей. Мнѣ хотѣлось бы заставить ихъ вѣрить, что я былъ до извѣстной степени рабомъ обстоятельствъ, лежащихъ за предѣлами человѣческаго контроля. Мнѣ хотѣлось бы, чтобы, рассматривая все, что я намѣренъ сейчасъ рассказать, они нашли для меня маленькій оазисъ *фатальности* среди пустыни заблужденій. Я желалъ-бы, чтобы они признали (чего они не могутъ не признать), что, хотя много было въ мѣрѣ искушеній, никогда раньше человѣкъ не былъ искушаемъ *такимъ образомъ*, во всякомъ случаѣ не палъ *такимъ образомъ*. Не оттого ли, можетъ - быть, что онъ никогда такъ не страдалъ? На самомъ дѣлѣ, не жилъ ли я во снѣ? И не умираю ли я теперь жертвою ужаса, и тайны самой странной изъ всѣхъ безумныхъ сновидѣній, когда-либо существовавшихъ подъ луной?

Я потомокъ расы, темпераментъ которой, легко возбудимый и богатый воображеніемъ, всегда обращалъ на себя вниманіе; и въ раннемъ моемъ дѣтствѣ я не разъ доказалъ, что у меня фамильный характеръ. По мѣрѣ того какъ я выросалъ, наследственные черты развивались все съ большей силой, дѣлаясь весьма часто источникомъ серьезныхъ неприяностей для моихъ друзей, и источникомъ положительнаго ущерба для меня. Я становился своенравнымъ, отдавался самымъ страннымъ капризамъ, и дѣлался жертвой

самыхъ непобѣдимыхъ страстей. Мои родители, слабохарактерные и угнетаемые природными недостатками, подобными моимъ, могли въ очень малой степени пресѣчь дурныя склонности, развивавшіяся у меня. Нѣсколько слабыхъ и дурно направленныхъ попытокъ, сдѣланныхъ ими, окончились полнымъ фіаско и, естественно, послужили для моего окончательнаго торжества. Отнынѣ мой голосъ сдѣлался въ домѣ закономъ, и, находясь въ томъ возрастѣ, когда немногія изъ дѣтей оставляютъ свои помочи, я былъ предоставленъ руководительству моею собственной воли, и во всемъ, кромѣ имени, сдѣлался господиномъ всѣхъ своихъ поступковъ.

Первое воспоминаніе о моей школьной жизни связано съ большимъ древнимъ зданіемъ въ стилѣ временъ Елисаветы, находящимся въ одномъ изъ туманныхъ селеній Англии, гдѣ было множество гигантскихъ сучковатыхъ деревьевъ, и гдѣ всѣ дома отличались большою древностью. И правда, это почтенное, старое селеніе было чудеснымъ мѣстомъ, умиротворяющимъ духъ и похожимъ на сновидѣніе. Я ощущаю теперь въ воображеніи освѣжительную прохладу этихъ тѣнистыхъ аллей, вдыхаю ароматъ тысячи кустарниковъ, и снова исполняюсь трепетомъ необъяснимаго наслажденія, слыша глухіе, глубокіе звуки церковнаго колокола, каждый часъ возмущающаго своимъ угрюмымъ и внезапнымъ ревомъ тишину туманной атмосферы, гдѣ мирно дремлетъ, вся украшенная зубцами, Готическая колокольня.

Чувство наслажденія, въ той степени, на какую я еще способенъ теперь, сразу охватываетъ меня, когда я останавливаюсь воспоминаніемъ на мельчайшихъ подробностяхъ школьной жизни со всѣми ея маленькими тревоженіями. Мнѣ, погруженному въ злополучіе—увы, слишкомъ реальное — вѣроятно, будетъ прощено, что я ищу утѣшенія, хотя бы слабого и непрочнаго, въ перечисленіи разныхъ ничтожныхъ деталей. Кромѣ того, будучи крайне обыкновенными и даже смѣшными, они приобрѣтаютъ въ моемъ

воображеніи двойную цѣнность, ибо связаны съ тѣмъ временемъ и мѣстомъ, когда я получилъ первое предостереженіе судьбы, съ тѣхъ поръ уже окутавшей меня такою глубокою тѣнью. Такъ пусть же идутъ воспоминанія.

Какъ я сказалъ, домъ былъ старъ и неправиленъ по своему строенію. Онъ занималъ большое пространство, и весь былъ окруженъ высокою и плотной кирпичною стѣною, наверху которой былъ положенъ слой извести и битого стекла. Этотъ оплотъ, достойный тюремнаго зданія, составлялъ границу нашихъ владѣній. За предѣлы его мы выходили только три раза въ недѣлю: во-первыхъ, каждую Субботу послѣ обѣда, когда, въ сопровожденіи двухъ приставниковъ, мы могли, въ полномъ составѣ, дѣлать небольшую прогулку по окрестнымъ полямъ, и, во-вторыхъ, въ Воскресенье, когда, въ одномъ и томъ же формальномъ порядкѣ, мы ходили на утреннюю и на вечернюю службу, въ мѣстную церковь. Пасторъ этой церкви былъ начальникомъ въ нашей школѣ. Съ какимъ глубокимъ чувствомъ удивленія и смущенности смотрѣлъ я обыкновенно на него съ нашей отдаленной скамьи, когда, медленными и торжественными шагами, онъ входилъ на кафедру. Неужели этотъ почтенный человѣкъ, съ лицомъ такимъ елейно-благоклоннымъ, и съ парикомъ такимъ строгимъ, громаднымъ, и такъ тщательно напудреннымъ, въ одѣяніи такомъ блестящемъ и такъ священнически волнуемомъ — неужели онъ тотъ же самый человѣкъ, который только что съ сердитою фізіономіей и въ платьѣ, запачканномъ нюхательнымъ табакомъ, примѣнялъ, съ линейкой въ рукѣ, Драконовскіе законы школьнаго кодекса? О, гигантскій парадоксъ, слышкомъ чудовищный, чтобы допускать разгадку!

Въ одномъ изъ угловъ массивной стѣны хмурилась еще болѣе массивная дверь. Она была покрыта заклепками, снабжена желѣзными засовами, а вверху были вдѣланы зазубренные гвозди. Что за непобѣдимое ощущеніе глубокаго страха внушала она! Эта дверь не открывалась ни

когда, исключая трехъ періодическихъ случаевъ, уже упомянутыхъ; и тогда въ каждомъ взвизгиваніи ея могучихъ петель мы находили избытокъ таинственнаго, цѣлый міръ ощущеній, вызывающихъ торжественныя замѣчанія, или еще болѣе торжественныя размышленія.

Обширная загородка была неправильна по формѣ, въ ней было много обширныхъ углубленій. Три или четыре такія углубленія представляли изъ себя мѣсто для игръ. Это было ровное пространство, покрытое мелкой твердой дресвой. Я прекрасно помню, что здѣсь не было ни деревьевъ, ни скамеекъ, ни чего-нибудь другого въ этомъ родѣ. Разумѣется, это пространство находилось позади дома. А передъ фасадомъ была небольшая лужайка, засаженная буксомъ и другими деревцами, но по этому священному мѣсту мы проходили только при самыхъ экстренныхъ случаяхъ, какъ, на примѣръ, при первомъ вступленіи въ школу или при окончательномъ удаленіи изъ нея, или же иногда въ тѣхъ случаяхъ, если какой-нибудь родственникъ или другъ присылалъ за нами, и мы весело отправлялись домой на Святки или на лѣтнюю вакацію.

Но домъ, домъ!—какое причудливое зрѣлище представляло изъ себя это древнее зданіе! Миѣ оно представлялось, поистинѣ, замкомъ царь! Поистинѣ, въ немъ конца не было разнымъ переходамъ и самымъ непостижимымъ подраздѣленіямъ. Положительно трудно было сказать съ опредѣленностью въ ту или другую минуту, на какомъ именно этажѣ вы находитесь. Изъ каждой комнаты въ другую непременно было три-четыре ступеньки. Затѣмъ неисчислимо было количество этихъ боковыхъ отдѣленій, невозможно было понять, какъ они сплетались между собою и, соединяясь, возвращались къ себѣ, такъ что самыя точныя наши представленія о цѣломъ зданіи не очень отличались отъ нашихъ представленій о безконечности. Въ продолженіи моего пятилѣтняго пребыванія здѣсь, я никогда не былъ способенъ съ точностью удостовѣриться, въ какомъ



именно отдаленномъ уголкѣ находилась спальня, предназначенная для меня и для другихъ восемнадцати-двадцати моихъ сотоварищей.

Классная комната была самой большой въ домѣ,—быть-можетъ даже, какъ я тогда думалъ, самой большой въ цѣломъ мірѣ,—чрезвычайно узкая, длинная, угрюмо-низкая, съ остроконечными Готическими окнами и дубовымъ потолкомъ. Въ отдаленномъ углу, невольно внушающемъ страхъ, была четырехугольная загородка, футовъ въ восемь или десять: здѣсь находилось *sanctum*, здѣсь, въ часы занятій, засѣдалъ нашъ принципаль, достопочтенный Докторъ Брэнсби. Это было солидное сооруженіе, съ массивными дверями; мы согласились бы скорѣе погибнуть, претерпѣвъ *la reine forte et dure*, нежели открыть эту дверь въ отсутствіе „dominie“. Въ другихъ углахъ комнаты были два подобныя же помѣщенія, правда, гораздо менѣе чтимыя, но все-таки достаточно страшныя. Именно, въ одномъ углу находилась кафедра учителя „древнихъ языковъ“, въ другомъ кафедра учителя „Англійскаго языка и математики“. Пересѣкая комнату, во всевозможныхъ направленіяхъ, всюду были разсѣяны скамейки и пюпитры, черные, старинные, и изношенные временемъ, заваленные отчаяннымъ множествомъ истерзанныхъ книгъ, и до такой степени разукрашенные инициалами, именами, забавными фигурами, и разными другими отмѣтками ножа, что первоначальная форма давно минувшихъ дней была совершенно утрачена. Въ одномъ изъ крайнихъ пунктовъ комнаты находилось огромное ведро съ водой, а въ другомъ—часы ужасающихъ размѣровъ.

Заключенный въ массивныхъ стѣнахъ этого почтеннаго заведенія, я провелъ, могу сказать, безъ скуки и безъ отвращенія, все третье пятилѣтіе моей жизни. Плодотворный дѣтскій умъ не нуждается въ богатомъ внѣшнемъ мірѣ, чтобы работать и развлекаться; монотонная школьная жизнь, повидимому, такая унылая, была исполнена гораздо

болѣ сильныхъ возбужденій, тѣмъ тѣ услады, которыя въ болѣ зрѣлой юности я извлекалъ изъ сладострастія, или тѣ возбужденія, которыя я, въ періодъ полной возмужалости, находилъ въ преступленіяхъ. Однако, я думаю, что мое первоначальное духовное развитіе было далеко не ординарнымъ и даже чрезмѣрнымъ. Событія первыхъ дней существованія обыкновенно очень рѣдко оставляютъ у людей какія-нибудь опредѣленные впечатлѣнія, которыя могли бы сохраниться до зрѣлаго возраста. Все это пріобрѣтаетъ характеръ туманной тѣни — дѣлается смутнымъ неопредѣленнымъ воспоминаніемъ — превращается въ еле явственный отблескъ слабыхъ радостей и фантазмагорическихъ страданій. Не такъ было со мной. Я долженъ былъ въ дѣтствѣ чувствовать съ энергіей мужчины то, что я нахожу теперь глубоко запечатлѣвшимся въ моей душѣ, такъ рѣзко и глубоко, что я могъ бы сравнить эти впечатлѣнія съ надписями, вытисненными на старинныхъ Кароагенскихъ медаляхъ.

И однако же, на самомъ дѣлѣ — если становиться на повседневную точку зрѣнія — о чемъ тутъ въ сущности вспоминать! Утреннее пробужденіе, призывъ къ ночному сну; уроки, предварительныя репетиціи; періодическій отдыхъ и прогулки; игры, забавы, ссоры и интриги: — все это, вызванное въ памяти точно колдовствомъ, увлекаетъ меня къ цѣлому міру ощущеній, къ міру, богатому разными случайностями, впечатлѣніями, возбужденіемъ самымъ страстнымъ и разнообразнымъ. „Oh, le bon temps, que ce siècle de fer!“

Будучи исполненъ энтузіазма, обладая натурой пылкой и властной, я очень скоро выдѣлился изъ среды товарищей и мало-по-малу, воплиѣ естественнымъ порядкомъ, пріобрѣлъ верховенство надо всѣми, кто не былъ значительно старше меня—надо всѣми, исключая только одного. Я разумѣю одного товарища, который, хотя и не былъ связанъ со мной родственными отношеніями, однако, имѣлъ

то же самое имя и ту же самую фамилию, — обстоятельство, правда, мало замѣчательное, ибо, несмотря на благородное происхожденіе, я носилъ одно изъ тѣхъ заурядныхъ именъ, которыя, повидимому, на правахъ давности, сдѣлались съ незапамятныхъ временъ общимъ достояніемъ толпы. Поэтому я и называлъ себя въ данномъ повѣствованіи Вильямомъ Вильсономъ — вымышленное наименованіе, не очень отличающееся отъ дѣйствительнаго. Только одинъ мой однофамилецъ изъ всѣхъ товарищей, составлявшихъ, говоря школьнымъ языкомъ, „нашу партію“, осмѣливался соперничать со мной въ классныхъ занятіяхъ, въ играхъ, и раздорахъ — отказывался вѣрить безусловно моимъ утвержденіямъ и подчиняться моей волѣ — рѣшался въ самыхъ разнообразныхъ отношеніяхъ вмѣшиваться въ сферу моей неограниченной диктатуры. А если есть на землѣ дѣйствительно безмѣрный деспотизмъ, это именно деспотизмъ властолюбиваго дѣтскаго ума, когда онъ соприкасается съ менѣе энергическими умами сотоварищей.

Мятежническое поведеніе Вильсона было для меня источникомъ величайшихъ затрудненій, тѣмъ болѣе, что, несмотря на браваду, съ которой я публично относился къ нему и къ его претензіямъ, втайнѣ я чувствовалъ, что боюсь его, и не могъ не замѣчать, что равенство со мной, которое онъ поддерживалъ такъ легко, было доказательствомъ его истиннаго превосходства, ибо мнѣ стоило непрерывныхъ усилій — оставаться не побѣжденнымъ. Однако, это превосходство — или даже это равенство — не было извѣстно никому, кромѣ меня; наши товарищи, по какой-то необъяснимой слѣпотѣ, повидимому, даже и не подозрѣвали о немъ. Дѣйствительно, соперничество Вильсона, его сопротивление и, въ особенности, его наглое и упорное вмѣшательство въ мои планы было столько же утонченнымъ, сколько скрытымъ. Онъ, казалось, былъ совершенно лишень также и честолюбія, побуждавшаго меня стремиться къ превосходству, и страстной энергіи ума, дававшей мнѣ

къ этому возможность. Можно было предположить, что въ своемъ соперничествѣ онъ руководился единственно капризнымъ желаніемъ противорѣчить мнѣ, удивлять или унижать меня, хотя были минуты, когда я не могъ не замѣтить, съ смутнымъ чувствомъ изумленія, приниженности и раздраженія, что онъ примѣшивалъ къ своимъ оскорбленіямъ и къ своему упорному желанію противорѣчить совершенно неподходящую и въ высшей степени досадную учтивость. Я могъ приписать такое странное поведеніе только одному, именно, я видѣлъ въ этомъ результатъ того крайняго самодовольства, который позволяетъ себѣ вульгарный тонъ покровительства и превосходства. Быть-можетъ, эта послѣдняя черта въ поведеніи Вильсона, вмѣстѣ съ тождествомъ нашихъ именъ и съ случайнымъ поступленіемъ въ школу въ одинъ и тотъ же день, была причиной того, что среди старшихъ учениковъ школы распространилось мнѣніе, будто мы—братья. Ученики старшихъ классовъ вообще не входятъ особенно подробно въ дѣла младшихъ товарищей. Я раньше сказалъ, или долженъ былъ бы сказать, что Вильсонъ не былъ связанъ родствомъ съ моею семьей, хотя бы въ самой отдаленной степени. Но, во всякомъ случаѣ, если бы мы *были* братьями, мы должны были бы быть близнецами: на самомъ дѣлѣ, оставивъ заведеніе доктора Брэнсби, я случайно узналъ, что мой соименникъ родился 19-го января 1813 года, и нужно сказать, что данное совпаденіе нѣсколько удивительно, такъ какъ я родился именно въ этотъ же день.

Можетъ показаться страннымъ, что, несмотря на постоянную тревогу, которую причиняли мнѣ соперничество Вильсона и его нестерпимая манера во всемъ мнѣ противорѣчить, я не могъ заставить себя питать къ нему ненависть. Правда, между нами почти ежедневно возникала какая-нибудь ссора, причемъ, отдавая мнѣ публично пальму первенства, онъ умѣлъ тѣмъ или инымъ способомъ дать мнѣ почувствовать, что это *онъ* ея заслуживаетъ; но чув-

ство гордости съ моей стороны и чувство истиннаго достоинства съ его—держали насъ постоянно въ такихъ отношеніяхъ, что мы „говорили другъ съ другомъ“; въ то же время въ нашихъ темпераментахъ было очень много чертъ настоящаго сродства, вызывавшаго во мнѣ такое чувство, которому, быть-можетъ, только наше положеніе помѣшало превратиться въ дружбу. Трудно на самомъ дѣлѣ опредѣлить или хотя бы описать мои настоящія чувства по отношенію къ нему. Въ нихъ было много чего-то нестраго и разнороднаго; тутъ была и бурная враждебность, не являвшаяся однако ненавистью, было и уваженіе, еще больше почтенія, много страха, и чрезвычайно много болѣзненнаго любопытства. Для моралиста излишне добавлять, что мы были съ Вильсономъ самыми неразлучными сотоварищами.

Нѣтъ сомнѣнія, что именно такое ненормальное положеніе дѣла придало всѣмъ моимъ нападкамъ на него (а ихъ было много и открытыхъ, и тайныхъ) скорѣе характеръ издѣвательства и продѣлокъ (преслѣдовавшихъ цѣль—уязвить его чѣмъ-нибудь потѣшнымъ), нежели характеръ серьезной и опредѣлившейся враждебности. Но мои попытки такого рода отнюдь не были одинаково успѣшны, даже тогда, когда мои планы бывали составлены самымъ хитроумнымъ образомъ; у моего соименника было въ характерѣ много той безпритязательной и спокойной строгости, которая, услаждаясь ѣдкостью своихъ собственныхъ шутокъ, не имѣетъ Ахиллесовой пяты, и совершенно не поддается насмѣшкѣ. Я могъ найти въ немъ только одинъ слабый пунктъ, происходившій, вѣроятно, отъ прирожденнаго недостатка; другой соперникъ, не исчерпавшій свое остроуміе въ такой степени, какъ я, конечно, никогда не коснулся бы подобнаго недостатка: у Вильсона была слабость горловыхъ или гортанныхъ органовъ, что мѣшало ему говорить громко, — онъ постоянно говорилъ *очень тихимъ шопотомъ*. Изъ этого я не замедлилъ извлечь всѣ скудныя выгоды, какія только могъ найти здѣсь.

Вильсонъ прибѣгалъ къ очень разнороднымъ способамъ отплаты; въ особенности одна форма его процѣлокъ смущала меня выше всякой мѣры. Какимъ образомъ у него хватило проникательности увидать, что такой пустякъ можетъ меня мучить, этого вопроса я никогда не могъ разрѣшить; но, разъ усмотрѣвъ такую вещь, онъ сталъ пользоваться ею постоянно, чтобы причинить мнѣ непріятности. Я всегда питалъ отвращеніе къ моей грубой фамилии и къ банальному, если не плебейскому, имени. Эти слова положительно отравляли мой слухъ; и когда въ день моего прибытія въ школу, сюда явился второй Вильямъ Вильсонъ, я почувствовалъ досаду на него за то, что онъ носилъ такое имя, и вдвойнѣ проникся отвращеніемъ къ своему имени, потому что чужой носилъ его,—я зналъ, что этотъ чужой будетъ причиной его двукратныхъ повтореній, что онъ постоянно будетъ находиться въ моемъ присутствіи, и дѣла его, въ обычной повседневности школьныхъ занятій, должны будутъ часто смѣшиваться съ моими, по причинѣ этого противнаго совпаденія.

Чувство раздраженія, создавшееся такимъ образомъ, стало усиливаться послѣ каждой случайности, стремившейся показать моральное или физическое сходство между моимъ соперникомъ и мной. Я не зналъ тогда замѣчательнаго факта, что нашъ возрастъ былъ одинаковъ; но я видѣлъ, что мы были одинаковаго роста, и замѣтилъ, что мы отличались даже поразительнымъ сходствомъ въ общихъ контурахъ лица и въ отдѣльныхъ чертахъ. Меня бѣсили, кромѣ того, слухи о нашемъ родствѣ, распространившіеся до необычайности. Словомъ, ничто не могло меня смущать болѣе серьезно (хотя я тщательно скрывалъ такое смущеніе), нежели намекъ на существующее между нами сходство ума, личности, или происхожденія. Но, по правдѣ сказать, я не имѣлъ основанія думать, чтобъ это сходство было когда-нибудь предметомъ толковъ среди нашихъ сотоварищей, или чтобы оно даже было замѣчено кѣмъ-нибудь изъ нихъ (исключая

самого Вильсона, и обходя молчаніемъ слухи о родствѣ); но что онъ замѣтилъ сходство всѣхъ нашихъ манеръ, и такъ же ясно, какъ я самъ, это было очевидно; однако, умѣнье извлечь изъ такихъ обстоятельствъ такую громадную возможность причинять непріятности я могъ объяснить только его выдающеюся пронизательностью. Превосходно подражая мнѣ въ словахъ и въ поступкахъ, онъ рисовалъ передъ моими взорами меня самого, и игралъ свою роль великолѣпно. Скопировать мой костюмъ — это было легко: моя походка и общія манеры были усвоены безъ затрудненій; но, несмотря на его природный недостатокъ, отъ него не ускользнулъ даже мой голосъ. Громкія интонаціи, конечно, не могли быть передразнены, но, въ сущности, это было одно и то же: его своеобразный шепотъ *сдѣлался настоящимъ эхомъ моего голоса.*

Не берусь описать, какъ меня мучило и терзало это изысканное умѣнье нарисовать мой портретъ (дѣйствительно, портретъ, а не карриатуру). У меня было одно утѣшеніе: имитация, повидимому, была замѣчена только мною, и мнѣ приходилось терпѣть только странныя саркастическія улыбки моего соименника. Удовлетворившись впечатлѣніемъ, произведеннымъ на меня, онъ какъ бы подсмѣивался исподтишка надъ тѣмъ, какъ онъ хорошо уязвилъ меня, и выказывалъ очень своеобразное пренебреженіе къ публичному одобренію, которое могъ бы легко снискать своими остроумными продѣлками. Тотъ фактъ, что школьные товарищи не видѣли его намѣреній, не понимали совершенства въ ихъ исполненіи, и не участвовали въ его насмѣшкахъ, былъ для меня большой загадкой, — въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ я размышлялъ объ этомъ тревожно и безуспѣшно. Быть-можетъ, утонченность *градаціи* въ его передразниваніи дѣлала копированіе не такимъ замѣтнымъ, или, еще болѣе вѣроятно, я былъ обязанъ своей безопасностью мастерскимъ приѣмамъ создателя копій, который, пренебрегая буквой (слишкомъ очевидной для всѣхъ, даже тупыхъ), пе-

редавалъ только духъ подлинника — передавалъ такъ хорошо, что мнѣ оставалось смотрѣть и огорчаться.

Я уже говорилъ неоднократно о противной манерѣ, которую Вильсонъ усвоилъ по отношенію ко мнѣ, и его частомъ назойливомъ вмѣшательствѣ въ мои желанія. Это вмѣшательство нерѣдко принимало непріятный характеръ совѣта — совѣта, не даваемого открыто, но указываемаго черезъ посредство намека. Я принималъ подобные совѣты съ отвращеніемъ, и оно увеличивалось по мѣрѣ того, какъ я становился старше. Однако, въ эти далекіе дни — простирая справедливость заставляетъ меня признать это — онъ никогда не внушалъ мнѣ тѣхъ ошибокъ и безумствъ, которыя были столь свойственны его незрѣлому возрасту и видимой неопытности; я долженъ признаться, что, если его таланты и свѣтскій тактъ не равнялись моимъ, нравственное чувство было у него гораздо острѣе, чѣмъ у меня; я долженъ признаться, что я былъ бы теперь болѣе хорошимъ человѣкомъ, а потѣму и болѣе счастливымъ, если бы я рѣже отвергалъ совѣты, которые онъ давалъ мнѣ такимъ выразительнымъ шопотомъ, и которые я тогда слишкомъ искренно ненавидѣлъ и слишкомъ горько презиралъ.

Въ концѣ концовъ, во мнѣ пробудилось крайнее упрямство, при видѣ такого отвратительнаго надзора; со дня на день я все болѣе и болѣе открыто злобствовалъ на то, что считалъ невыносимой дерзостью. Я сказалъ, что въ первые годы нашей совмѣстной жизни мои чувства легко могли бы превратиться въ дружбу; но въ послѣдніе мѣсяцы моего пребыванія въ школѣ, несмотря на то, что его обычная назойливость, безъ сомнѣнія, уменьшилась, мной овладѣло, почти въ томъ же соотношеніи, ощущение положительной ненависти. Мнѣ кажется, что однажды онъ увидѣлъ это и сталъ избѣгать меня, или дѣлалъ видъ, что избѣгаетъ.

Если я вѣрно вспоминаю, какъ разъ около этого періода, во время одной очень сильной распри, когда онъ



болѣе обыкновеннаго отрѣшился отъ своей осмотрительности и держалъ себя съ открытой рѣзкостью, почти чуждой его натурѣ, я замѣтилъ въ его интонаціи, въ его манерахъ, во всемъ выраженіи его фізіономіи что-то особенное, что сперва изумило меня, а потомъ глубоко заинтересовало, вызывая въ умѣ туманное видѣніе самаго ранняго дѣтства, смутныя, странныя, и торопливыя воспоминанія о томъ времени, когда память еще не рождалась. Не могу лучше описать ощущеніе, охватившее меня, какъ сказавъ, что я не въ силахъ былъ отрѣшиться отъ убѣжденія, что я зналъ существо, стоявшее передо мною, зналъ въ давно прошедшіе дни, въ безконечно-отдаленномъ прошломъ. Однако, обманчивая мечта поблекла такъ же быстро, какъ пришла, и я упоминаю о ней только затѣмъ, чтобы опредѣлить день послѣдняго разговора съ моимъ страннымъ одноименнымъ сотоварищемъ.

Въ громадномъ старинномъ домѣ, съ его безконечными подраздѣленіями, было нѣсколько большихъ комнатъ, сообщавшихся между собою и служившихъ спальнями для большинства учащихся. Было въ немъ, кромѣ того (явленіе неизбежное въ зданіи, выстроенномъ такъ неуклюже), множество уголковъ и закоулковъ, выступовъ и углубленій, которыми бережливый геній Доктора Брансби также сумѣлъ воспользоваться въ качествѣ дортуаровъ, хотя, будучи ничѣмъ инымъ, какъ чуланами, они могли вмѣщать въ себя только по одному субъекту. Именно въ одномъ изъ такихъ маленькихъ помѣщеній спалъ Вильсонъ.

Однажды ночью, на исходѣ пятаго года моей школьной жизни, — и какъ разъ послѣ ссоры, о которой я только что упоминалъ, — видя, что всѣ спятъ, я всталъ съ постели и, держа лампочку въ рукѣ, прокрался черезъ цѣлую пустыню узкихъ переходовъ изъ моей собственной спальни къ спальнѣ моего соперника. Я давно замышлялъ одну изъ тѣхъ злыхъ продѣлокъ, въ которыхъ до тѣхъ поръ неизмѣнно терпѣлъ фіаско. Теперь я твердо рѣшился при-

вести свой планъ въ исполненіе и заставить его почувствовать всю силу злости, наполнившей мое сердце. Достигнувъ его чулана, я безшумно вошелъ туда, оставивъ лампочку у входа и предварительно затѣнивъ ее. Я сдѣлалъ шагъ, приблизился, и услышалъ звукъ спокойнаго дыханія. Увѣрившись, что онъ спитъ, я повернулся назадъ, захватилъ огонь и снова приблизился къ постели. Вокругъ нея задернуты были занавѣси; для исполненія своего плана я тихонько раздвинулъ ихъ. Яркіе лучи упали на лицо спящаго, и въ тотъ же самый мигъ, увидавъ это лицо, я почувствовалъ, что холодѣю, я мгновенно весь оцѣпенѣлъ. Въ груди что-то сжалось, колѣни задрожали, и душа моя исполнилась безпредметнымъ невыносимымъ ужасомъ. Задыхаясь, я опустилъ лампу въ уровень съ лицомъ. Какъ, это Вильямъ Вильсонъ—*это* черты его лица! Я прекрасно видѣлъ, что это—его черты, но дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, воображая, что то не были черты его лица. Что же *было* въ нихъ, что меня смутило до такой степени? Я смотрѣлъ, и въ моемъ умѣ бѣшено роилось множество безсвязныхъ мыслей. Не такимъ онъ являлся мнѣ—о, конечно, *не такимъ*—въ тѣ яркіе часы, когда онъ не спалъ. То же самое имя, тѣ же контуры лица, прибытіе въ школу въ одинъ и тотъ же день, и потомъ это проклятое бессмысленное подражаніе моей походкѣ, моему голосу, и моимъ манерамъ. Неужели границы человѣческой возможности позволяли то, что *я видѣлъ теперь?* Неужели это было ничѣмъ инымъ, какъ слѣдствіемъ постоянной привычки продѣлывать насмѣшливое подражаніе? Пораженный ужасомъ и весь охваченный трепетомъ, я молча вышелъ изъ комнаты и покинулъ стѣны этого древняго заведенія, чтобы болѣе не возвращаться въ него никогда.

По истеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, проведенныхъ дома въ полной праздности, я уѣхалъ учиться въ Этонъ. Краткаго промежутка времени было достаточно, чтобы ослабить воспоминаніе о событіяхъ, совершившихся въ школѣ Брэнесби,

или, по крайней мѣрѣ, его было достаточно, чтобы внести существенную перемѣну въ характеръ воспоминаній. Дѣйствительность, трагическая сторона драмы, болѣе не существовала. Я имѣлъ достаточные мотивы сомнѣваться въ очевидныхъ показаніяхъ моихъ чувствъ, и рѣдко вспоминалъ о всѣхъ этихъ приключеніяхъ безъ того, чтобы не удивляться, какъ велико человѣческое легковѣріе, и не улыбаться на прирожденную живость моей фантазіи. Та жизнь, которой я жилъ въ Этонѣ, отнюдь не могла уменьшить мой скептицизмъ. Я бросился въ водоворотъ неудержнаго безумства, и въ немъ тотчасъ же и безвозвратно потонуло все, и осталась только пѣна воспоминанія; я сразу потопилъ всѣ серьезныя и глубокія впечатлѣнія, и въ памяти моей сохранились только самыя жалкіе примѣры моего легкомыслія, отличавшаго мою прежнюю жизнь.

Я не имѣю, однако, намѣренія отмѣчать здѣсь весь путь моего жалкаго безпутства — безпутства, которое насмѣхалось надъ всякими законами и избѣгало бдительности всякаго надзора. Три года безумствъ, проведенныхъ безъ всякой пользы, сдѣлали меня только закоренѣлымъ въ порочныхъ привычкахъ, и прибавили нѣчто къ моему физическому развитію, прибавили даже въ степени нѣсколько необыкновенной. Какъ-то послѣ недѣли низкихъ забавъ, я пригласилъ къ себѣ нѣсколькихъ изъ наиболѣе распутныхъ студентовъ на тайную попойку. Мы сошлись въ поздній часъ ночи, ибо наши излишества обыкновенно продолжались добросовѣстнымъ образомъ вплоть до утра. Вино лилось неудержно, и не было, кромѣ того, недостатка въ другихъ, быть-можетъ, болѣе опасныхъ соблазнахъ, такъ что наши безумныя экстравагантности достигли своей вершины, когда на востокѣ слабо забрезжился туманный разсвѣтъ. Бѣшено разгоряченный картамп и виномъ, я настаивалъ на какомъ-то необыкновенно богохульномъ тостѣ, какъ вдругъ мое вниманіе было привлечено рѣзкимъ звукомъ: дверь въ комнату быстро открылась, хотя только

чуть-чуть, и оттуда раздался торопливый голосъ моего слуги. Онъ сказалъ, что кто-то хочетъ со мной говорить и что пришедшій, повидимому, очень спѣшить.

При моемъ безумномъ состояніи опьяненья это неожиданное вторженіе скорѣе восхитило, нежели удивило меня. Заплетающейся походкой я вышелъ вонъ и, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, очутился въ прихожей. Въ этой узкой и низенькой комнаткѣ не висѣло ни одной лампы, и никакого другого свѣтильника въ ней не было; только слабый, чрезвычайно туманный разсвѣтъ глядѣлся сквозь полукруглое окно. Ступивъ на порогъ, я увидалъ фигуру юноши, приблизительно моего роста, онъ былъ одѣтъ въ бѣлый утренній костюмъ изъ казмира, сдѣланный по послѣдней модѣ, совершенно въ такомъ же родѣ, какой былъ на мнѣ. Это я могъ замѣтить при слабомъ освѣщеніи, но черты его лица были мнѣ не видны. При моемъ приближеніи, онъ быстро устремился ко мнѣ и, схвативъ меня за руку, съ повелительнымъ жестомъ нетерпѣнія, прошепталъ мнѣ на ухо: „Вильямъ Вильсонъ!“

Хмѣль мгновенно вылетѣлъ у меня изъ головы.

Въ манерахъ пришлеца, въ нервномъ трепетѣ его приподнятаго пальца, который онъ держалъ въ пространствѣ между моимъ взглядомъ и мерцаніемъ, струившимся черезъ окно, было много чего-то, что исполнило меня безграничнымъ изумленіемъ; но не это чувство такъ сильно поразило меня. Меня поразила интонація торжественнаго увѣщанія, слышавшаяся въ этомъ тихомъ необыкновенномъ свистящемъ *шепотѣ*, прежде всего характеръ, *выраженіе* этихъ простыхъ и знакомыхъ звуковъ, — они принесли съ собою цѣлую бездну торопливыхъ воспоминаній о прошедшихъ дняхъ, и поразили мою душу какъ токомъ гальванической батареи. Прежде чѣмъ я успѣлъ опомниться, онъ исчезъ.

Хотя это событіе не преминуло оказать на мое разстроенное воображеніе самое сильное впечатлѣніе, однако, его живость равнялась его мимолетности. Въ теченіи нѣсколь-

кихъ недѣль я, дѣйствительно, то занимался самыми ревностными изслѣдованіями, то отдавался болѣзненнымъ размышленіямъ. Я не пытался скрывать отъ себя, кто былъ этотъ странный человѣкъ, такъ упорно вмѣшивавшійся въ мои дѣла, и мучившій меня своими назойливыми совѣтами. Но что изъ себя представлялъ этотъ Вильсонъ—и откуда онъ былъ — и каковы были его цѣли? Ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ я не могъ отвѣтить удовлетворительнымъ образомъ. Я узналъ только, что по какимъ-то внезапнымъ семейнымъ дѣламъ онъ долженъ былъ удалиться изъ школы Доктора Брэнсби въ послѣобѣденный часъ того самаго дня, когда я бѣжалъ. Но вскорѣ я пересталъ думать объ этомъ, и все мое вниманіе было поглощено планомъ переезда въ Оксфордъ. Тамъ, благодаря безразсудному тщеславію моихъ родителей, доставлявшихъ мнѣ огромныя деньги, я могъ отдаваться роскоши, уже сдѣлавшейся для меня необходимою, — я могъ соперничать въ расточительности съ самыми надменными наслѣдниками самыхъ богатыхъ графствъ Великобританіи.

Искушаемый постоянной возможностью доставлять себѣ порочныя наслажденія, мой прирожденный темпераментъ проявился съ удвоенной стремительностью, и, въ безумномъ ослѣпленіи отдавшись безпутству, я порвалъ самыя общепризнанныя узы благопристойности. Но было бы нелѣпо останавливаться на всѣхъ моихъ экстравагантностяхъ. Достаточно сказать, что среди расточителей я перещеголялъ рѣшительно всѣхъ, и, давъ наименованіе цѣлому множеству новыхъ безумствъ, основательно пополнилъ длинный списокъ пороковъ, которые были тогда обычными въ этомъ распутнѣйшемъ изъ Европейскихъ университетовъ.

Врядъ ли, однако, мнѣ повѣрятъ, когда я скажу, что я до такой степени удалился отъ джентльмэнства, что старался проникнуть во всѣ подлыя художества профессиональныхъ картежниковъ и, сдѣлавшись посвященнымъ въ эту позорную науку, прибѣгалъ обыкновенно къ ней, какъ къ

средству увеличенія и безъ того уже громадныхъ доходовъ, на счетъ тѣхъ изъ моихъ сотоварищей, кто былъ поглупѣе. Но, если мнѣ и не повѣрять, все же это былъ фактъ; и самая чудовищность такого издѣвательства надъ чувствомъ достоинства и чести была, очевидно, главной, если не единственной, причиной моей безнаказанности. Кто на самомъ дѣлѣ изъ моихъ сотоварищей, самыхъ испорченныхъ, не сталъ бы скорѣе оспаривать очевидное свидѣтельство своихъ чувствъ, нежели подозревать въ подобныхъ продѣлкахъ веселаго, откровеннаго, великодушнаго Вильяма Вильсона — самаго благороднаго и самаго щедраго студента во всемъ Оксфордѣ — его, чьи безумства (такъ говорили его паразиты) были только сумасбродствомъ молодой и необузданной фантазіи — чьи заблужденія были только неподражаемыми капризами — чья порочность, самая черная, была только беззаботной блестящей эксцентричностью.

Уже прошло два года такой веселой жизни, когда въ Оксфордскій университетъ поступилъ молодой дворянчикъ, рагвену, нѣкій Глендиннингъ — по слухамъ онъ былъ богатъ, какъ Иродъ Аттическій — причемъ богатство его, конечно, не причиняло ему хлопотъ. Вскорѣ я убѣдился, что онъ въ достаточной степени глупъ, и, конечно, намѣтилъ его, какъ подходящій субъектъ; на которомъ могъ испробовать свое умѣнье. Я часто приглашалъ его играть и, по обычной шулерской уловкѣ, заставлялъ его выигрывать значительныя суммы, чтобы тѣмъ дѣйствительнѣе завлечь его въ сѣти. Наконецъ, когда мой планъ созрѣлъ, я встрѣтился съ нимъ (съ твердымъ намѣреніемъ, чтобы эта встрѣча была окончательной) въ квартирѣ одного изъ товарищей-студентовъ (Мистера Престона), одинаково близкаго съ нами обоими и, нужно отдать справедливость, не питавшаго ни малѣйшаго подозрѣнія относительно моего намѣренія. Съ цѣлью придать всему лучший видъ, я позаботился, чтобы было приглашено еще нѣсколько товарищей, человѣкъ восемь-десять, и самымъ тщательнымъ образомъ подвелъ все

такъ, что карты появились какъ бы случайно и не по моему желанію, а по желанію моей намѣченной жертвы. Но не буду вдаваться во всѣ эти гнусныя подробности; не было, конечно, упущено ни одного изъ тѣхъ подлыхъ ухищреній, которыя настолько обычны въ подобныхъ случаяхъ, что нужно положительно удивляться, какимъ образомъ еще находятъ лица, до такой степени одурѣвшія, чтобы быть ихъ жертвами.

Наша игра зат нулась далеко за полночь, когда я, наконецъ, прибѣгъ къ своему маневру и избралъ Глендиннинга своимъ единственнымъ соперникомъ. Это была моя излюбленная игра, *бсартѣ*. Вся остальная публика, заинтересовавшись крупнымъ характеромъ нашей игры, оставила свои карты и окружила насъ, Нашъ рагвену, котораго въ первую половину вечера я искусно заставлялъ пить въ основательныхъ дозахъ, мѣшалъ, сдавалъ, и игралъ съ страшной нервностью въ манерахъ, и мнѣ казалось, что такая возбужденность не могла быть вполнѣ объяснена однимъ опьяненіемъ. Въ очень короткій промежутокъ времени онъ сдѣлался моимъ должникомъ на крупную сумму — затѣмъ, глотнувъ хорошую дозу портвейна, онъ сдѣлалъ то, на что я хладнокровно рассчитывалъ — предложилъ удвоить и безъ того уже экстравагантныя ставки. Я сталъ упорно отпѣкиваться и, наконецъ, согласился съ видимой неохотой, послѣ того какъ мой неоднократный отказъ заставилъ Глендиннинга сказать мнѣ нѣсколько колкостей, придававшихъ моей уступчивости видъ оскорбленности. Результатъ, конечно, только доказалъ, насколько жертва запуталась въ мои сѣти: менѣе чѣмъ въ часъ онъ учетверилъ свой долгъ. Съ нѣкотораго времени его фizioномія утратила красноту, вызванную виномъ, но теперь я замѣтилъ, къ своему изумленію, что лицо его покрылось блѣдностью поистинѣ страшной. Я говорю къ моему изумленію, потому что относительно Глендиннинга я произвелъ самыя точныя разслѣдованія, и мнѣ его представили исключитель-

мъ богачомъ; суммы, которыя онъ потерялъ, какъ ни велики они были сами по себѣ, все же не могли, вѣроятно, особенно тревожить его, тѣмъ менѣе — подѣйствовать на него такъ сильно. Я тотчасъ же подумалъ, что ему бросилось въ голову вино, которое онъ только что выпилъ, и скорѣе съ цѣлью сохранить репутацію въ глазахъ товарищей, нежели по мотивамъ болѣе безкорыстнымъ, хотѣлъ рѣшительно настаивать на прекращеніи игры, какъ вдругъ нѣсколько словъ, произнесенныхъ около меня кѣмъ-то изъ присутствующихъ, и восклицаніе, вырвавшееся у Глендининга и свидѣтельствовавшее о крайнемъ отчаяніи, дали мнѣ понять, что я окончательно раззорилъ его, при такихъ обстоятельствахъ, что они привлекли къ нему состраданіе всѣхъ, и должны были предохранить его даже отъ козней дьявола.

Мнѣ трудно сказать, какъ я могъ поступить въ подобномъ положеніи. Жалкое состояніе моей жертвы исполнило всѣхъ чувствомъ угрюмой неловкости, и въ теченіи нѣсколькихъ секундъ царило глубокое молчаніе, причѣмъ я не могъ не чувствовать, что щеки мои подергивались подъ пристальными, полными презрѣнія, взглядами, которые на меня устремляли наименѣе погибшіе изъ игроковъ. Я долженъ даже признаться, что съ моего сердца спала невыносимая тягость, когда черезъ мгновеніе послѣдовало что-то внезапное и необыкновенное вторженіе. Тяжелыя громадныя створчатыя двери распахнулись сразу съ громкимъ и сильнымъ взмахомъ, благодаря чему, точно силой колдовства, потухли всѣ свѣчи въ комнатѣ. Ихъ свѣтъ, умирая, далъ намъ только возможность замѣтить, что вошелъ какой-то незнакомецъ, приблизительно моего роста, плотно закутанный въ плащъ. Однако, теперь кругомъ было совершенно темно, и мы могли только *чувствовать*, что онъ стоитъ посреди насъ. Прежде чѣмъ кто-либо изъ присутствовавшихъ успѣлъ опомниться отъ крайняго изумленія, охватившаго насъ всѣхъ вслѣдствіе грубости такого вторженія, мы услышали голосъ незваного гостя.



„Джентльмены“, заговорилъ онъ тихимъ явственнымъ и позабвеннымъ *шоттономъ*, отъ котораго кровь застыла въ моихъ жилахъ, „джентльмены, я не буду стараться оправдать свой поступокъ, потому что, поступая такъ, я только исполняю свою обязанность. Вы, безъ сомнѣнiя, не осведомлены относительно истиннаго характера того господина, который сегодня ночью выигралъ, въ *écarté*, значительную сумму денегъ у Лорда Глендиннинга. Поэтому я предложу вамъ точное и рѣшительное средство получить эти необходимыя свѣдѣнiя. Не угодно ли вамъ будетъ осмотрѣть внимательно подкладку на обшлагахъ его лѣваго рукава, а также нѣсколько маленькихъ пачекъ: они могутъ быть найдены въ нѣсколько широковатыхъ карманахъ его вышитой тужурки“.

Пока онъ говорилъ, тишина была такая глубокая, что можно было бы услышать паденiе булавки на полъ. Договоривъ послѣднюю фразу, онъ удалился, такъ же быстро, какъ и пришелъ. Описывать ли мнѣ ощущенiя, охватившия меня—могу ли я ихъ описать? Нужно ли говорить, что я испытывалъ всѣ ужасы осужденнаго? Конечно у меня не было времени для размысленiя. Нѣсколько рукъ грубо схватили меня, были тотчасъ же зажжены свѣчи, меня обыскали. Въ обшлагъ моего рукава были найдены всѣ карточные фигуры, отъ которыхъ зависитъ исходъ игры въ *écarté*, а въ карманахъ тужурки было найдено нѣсколько колодъ картъ совершенно такихъ же, какими мы всегда играли, съ тою только разницей, что мои карты на техническомъ языкѣ назывались *закругленными*: хорошия карты въ такихъ колодахъ слегка вогнуты на нижнихъ концахъ, плохия слегка вогнуты по бокамъ. Благодаря этому, тотъ, кого обыгрываютъ, снимая обыкновенно вдоль колоды, неизмѣнно снимаетъ въ пользу своего противника, въ то время какъ шулеръ, снимая поперекъ, никогда не даетъ своей жертвѣ такой карты, которая могла бы ему послужить на пользу.

Взрывъ негодованiя поразилъ бы меня гораздо меньше,

чѣмъ безмолвное презрѣніе и саркастическія улыбки, появившіяся на всѣхъ лицахъ.

„Мистеръ Вильсонъ“, сказалъ нашъ хозяинъ, наклоняясь, чтобы поднять непомерно дорогой плащъ, подбитый самымъ рѣдкостнымъ мѣхомъ, „мистеръ Вильсонъ, это ваша собственность“. (Погода стояла холодная и, выходя изъ дому, я набросилъ плащъ, поверхъ домашняго костюма, а придя сюда, снялъ его). „Я думаю, что было бы излишне искать здѣсь (тутъ онъ съ горькой улыбкой посмотрѣлъ на складки моего костюма) какихъ-нибудь дальнѣйшихъ доказательствъ вашей необыкновенной ловкости. Дѣйствительно, у насъ ихъ совершенно достаточно. Надѣюсь, вы видите необходимость оставить Оксфордъ—во всякомъ случаѣ немедленно оставить мою квартиру“.

Будучи униженъ и втопанъ въ грязь, я, вѣроятно, тотчасъ же отплатилъ бы за эти оскорбительныя слова личнымъ оскорбленіемъ, если бы все мое вниманіе не было поглощено въ эту минуту фактомъ самымъ поразительнымъ. Мой плащъ былъ подбитъ рѣдкостнымъ мѣхомъ, не смѣю даже сказать, какимъ безумно-рѣдкимъ и дорогимъ. Его фасонъ, кромѣ того, былъ изобрѣтеніемъ моей собственной фантазіи, такъ какъ моя прихотливость во всѣхъ этихъ пустякахъ щегольства доходила до абсурда. Когда поэтому мистеръ Престонъ подалъ мнѣ плащъ, подобранный на полу около створчатыхъ дверей, я былъ охваченъ изумленіемъ, граничившимъ съ чувствомъ ужаса, замѣтивъ, что мой плащъ уже былъ на мнѣ (я, конечно, машинально его набросилъ на себя), и что плащъ, который былъ мнѣ предложенъ, являлся совершеннымъ двойникомъ моего во всѣхъ, даже мельчайшихъ, деталяхъ. Странное существо, что такъ зловѣще выдало меня, было закутано въ плащъ; это я хорошо помню, и никто, кромѣ меня, изъ сочленовъ нашего общества не имѣлъ обыкновенія носить плащъ. Сохраняя еще нѣкоторое присутствіе духа, я взялъ изъ рукъ Престона плащъ, и незамѣтно ни для кого накинулъ

его на свой; затѣмъ, выйдя изъ комнаты съ угрожающимъ лицомъ, я на слѣдующее же утро, прежде чѣмъ забрезжилъ день, предпринялъ бѣшеное бѣгство изъ Оксфорда къ континенту, умирая отъ ужаса и стыда.

*Я убѣгалъ напрасно.* Злой рокъ, точно торжествуя, преслѣдовалъ меня и дѣйствительно доказалъ мнѣ, что его таинственное владычество только что началось. Едва только я прѣхалъ въ Парижъ, какъ получилъ новое доказательство ненавистнаго интереса, съ которымъ относился ко мнѣ Вильсонъ. Шли годы, а я не имѣлъ ни минуты отдыха. Негодяй! — Когда я былъ въ Римѣ, какъ несвоевременно, какъ назойливо всталъ онъ темнымъ призракомъ между мною и моимъ честолюбіемъ — а въ Вѣнѣ — а въ Берлинѣ — а въ Москвѣ — гдѣ же у меня не было горькихъ причинъ проклинать его всѣмъ сердцемъ? Объятый паническимъ ужасомъ, я бѣжалъ, наконецъ, отъ его непостижимой тирании, какъ отъ чумы. Но, достигая предѣловъ земли, я *убѣгалъ напрасно.*

И опять, и опять, вопрошая тайкомъ свою душу, я восклицалъ: „Кто-же онъ? — откуда онъ? — и каковы его цѣли?“ Но отвѣта не находилъ. Я начиналъ съ самымъ тщательнымъ вниманіемъ изслѣдовать приемы, методъ, и отличительныя черты его наглого высматриванія. Но даже и въ этой области у меня было слишкомъ мало данныхъ, чтобы строить догадки. Поистинѣ удивительно было, что во всѣхъ многочисленныхъ случаяхъ, когда онъ становился мнѣ поперекъ дороги, онъ становился только для того, чтобы разрушить планы, которые, будучи приведены въ исполненіе, могли бы кончиться только чѣмъ нибудь злымъ. Плохое утѣшеніе для темперамента такого властолюбиваго! Скудное вознагражденіе за поруганныя права свободнаго выбора, поруганныя такъ нагло и съ такимъ упорствомъ!

Мнѣ пришлось также замѣтить, что мой учитель въ теченіи долгаго періода времени (между тѣмъ какъ онъ

самымъ тщательнымъ образомъ и съ самой удивительной ловкостью продолжалъ осуществлять свое капризное желаніе и постоянно имѣлъ одинаковую со мною наружность) устраивалъ всегда такъ, что каждый разъ, когда онъ вмѣшивался въ мои желанія, я не могъ замѣтить отдѣльныхъ чертъ его лица. Что бы изъ себя ни представлялъ Вильсонъ, конечно, это было ничѣмъ инымъ, какъ верхомъ аффектаціи или дурачества. Развѣ онъ могъ хотя на минуту предполагать, что я ошибался насчетъ личности того, кто въ Этонѣ давалъ мнѣ непрошеные совѣты, въ Оксфордѣ запятналъ мою честь, въ Римѣ былъ помѣхой моему честолюбію, въ Парижѣ—моей мести, въ Неаполѣ—моей страстной любви, въ Египтѣ—тому, что онъ лживо назвалъ моимъ скряжничествомъ—могъ ли онъ сомнѣваться, что я узнаю въ немъ моего закоренѣлаго врага и злого генія, Вильяма Вильсона, моихъ школьныхъ дней—соименника, сотоварища, соперника—ненавистнаго и страшнаго соперника въ заведеніи доктора Брэнсби? Не можетъ быть!—Но я хочу поскорѣй разсказать послѣднюю достопримѣчательную сцену всей драмы.

До сихъ поръ я лѣниво подчинялся этому деспотическому владычеству. Чувство глубокаго почтенія, съ которымъ я привыкъ относиться къ возвышенному характеру, къ величественной мудрости, къ видимой вездѣсущности и всезнанію Вильсона въ соединеніи съ чувствомъ страха, внушеннаго мнѣ нѣкоторыми другими его чертами и притязаніями, навязало мнѣ мысль о моей полной слабости и безпомощности, и заставило меня всецѣло подчиняться его произволу, хотя и съ чувствомъ горестнаго отвращенія. Но за послѣднее время я всецѣло отдался вину, и его умопомрачающее вліяніе, сочетавшійся съ моимъ наслѣдственнымъ темпераментомъ, все болѣе и болѣе наполняло меня нетерпѣніемъ противъ надзора. Я началъ роптать, колебаться, протестовать, и, была ли это только моя фантазія—мнѣ показалось, что упрямство моего учителя

уменьшалось въ прямомъ отношеніи съ увеличеніемъ моеи твердости! Какъ бы то ни было, я началъ чувствовать воодушевленіе загорающей надежды и, въ концѣ концовъ, взлелѣялъ въ глубинѣ души мрачную и отчаянную рѣшимость сбросить съ себя ярмо рабства.

Это было въ Римѣ, во время карнавала 18—; я былъ приглашенъ на маскарадъ въ палатцу Неаполитанскаго герцога ди-Брольо. Я много выпилъ вина, болѣе, чѣмъ обыкновенно, и удушливая атмосфера людныхъ комнатъ раздражала меня невыносимо. Кромѣ того, трудность пробраться черезъ тѣсную толпу въ немалой степени увеличивала мою ярость; дѣло въ томъ, что я озабоченно искалъ (не буду говорить, для какихъ низкихъ цѣлей) молодую, веселую и прекрасную супругу престарѣлаго и безумно ее любящаго, ди-Брольо. Съ слишкомъ большой неосмотрительностью она довѣрилась мнѣ, сказавъ заранѣе, какой на ней будетъ костюмъ, и теперь, увидѣвъ ее мелькомъ, я бѣшено пробивался черезъ толпу, по направленію къ ней. Вдругъ я почувствовалъ, что кто-то слегка положилъ руку на плечо мнѣ, и въ моихъ ушахъ раздался вѣчно памятный глухой и ненавистный *шопотъ*.

Въ состояніи неудержимаго бѣшенства и ярости, я быстро повернулся къ тому, кто такъ тревожилъ меня, и грубо схватилъ его за шиворотъ. Какъ я и ожидалъ, онъ былъ одѣтъ совершенно такъ же, какъ и я,—на немъ былъ испанскій плащъ, изъ голубого бархата, а на ярко-красной перевязи, проходившей вокругъ талии, была привѣшена шпага. Лицо его было совершенно закрыто черной шелковой маской.

„Негодяй!“ воскликнулъ я, голосомъ хриплымъ отъ бѣшенства, въ то время какъ каждый слогъ, который я произносилъ, казалось, подливалъ мнѣ новой желчи; „негодяй! мошенникъ! проклятая тварь! Ты не будешь больше, ты не посмѣешь больше преслѣдовать меня, какъ собака! за мной, или я заколю тебя тутъ же на мѣстѣ!“ Я

устремился изъ бальнаго зала въ небольшую смежную прихожую, увлекая за собою своего врага. Онъ не сопротивлялся.

Войдя въ прихожую, я съ яростью отшвырнулъ его отъ себя. Онъ заковылялъ къ стѣнѣ, а я съ ругательствомъ закрылъ дверь и приказалъ ему обнажить шпагу. Вильсонъ заколебался, но только на мгновеніе, затѣмъ съ легкимъ вздохомъ онъ вынулъ свою шпагу и началъ защищаться.

Недологъ былъ, однако, нашъ поединокъ. Я былъ раздраженъ, возбужденъ. Я чувствовалъ, что въ одной моей рукѣ кроется энергія и сила цѣлой толпы. Черезъ нѣсколько секундъ я притиснулъ его къ стѣнѣ и, такимъ образомъ держа его въ полной своей власти, съ жестокостью животнаго нѣсколько разъ проткнулъ ему грудь.

Въ эту минуту кто-то взялся за дверную ручку; я поспѣшилъ задержать вторженіе, заперъ дверь и тотчасъ же вернулся къ умирающему сопернику. Но какія человѣческія слова могутъ въ должной мѣрѣ нарисовать *то* изумленіе, *тотъ* ужасъ, которые овладѣли мною при видѣ зрѣлица, представшаго моимъ глазамъ. Краткаго мгновенія было совершенно достаточно, чтобы произвести, повидимому, крайне существенную перемену въ обстановкѣ дальняго угла комнаты. Огромное зеркало—такъ сперва показалось мнѣ при моемъ замѣшательствѣ—стояло теперь тамъ, гдѣ раньше не было ничего подобнаго, и когда я шатающейся походкой, въ состояніи крайняго ужаса, пошелъ къ нему, ко мнѣ приблизился тѣми же слабыми заплетающимися шагами мой двойникъ, мой собственный образъ, но страшно блѣдный и забрызганный кровью.

Такъ мнѣ показалось, говорю я, но не такъ было на дѣлѣ. Это былъ мой соперникъ—это Вильсонъ стоялъ передо мною, охваченный смертною агоніей. Его планцъ вмѣстѣ съ маской валялся на полу—и не было ни одной нити во всемъ его костюмѣ—не было ни одной черты во

всемъ его лицѣ, такомъ выразительномъ и страшномъ, которая не была бы моею до самаго полнаго тождества,—  
*моей, моею!*

Это былъ Вильсонъ; но онъ больше не шепталъ, я могъ подумать, что это я самъ, а не онъ, говорилъ мнѣ:

*„Ты побѣдилъ, и я уступаю. Но съ этихъ поръ ты также мертвъ—мертвъ для Мира, для Небесъ, и для Надежды! Во мнѣ ты существовалъ—и, убивъ меня, смотри на этотъ образъ, который ничто иное, какъ твой собственный—смотри, какъ безвозвратно, въ моей смерти, ты умертвилъ самого себя!“*

---





СТАТЪИ.



## ПОЭТИЧЕСКІЙ ПРИНЦИПЪ.

Говоря о Поэтическомъ Принципѣ, я не притязаю ни на полноту, ни на глубину. Разсуждая безъ заранѣ составленнаго плана о сущности того, что мы называемъ Поэзіей, я хочу главнымъ образомъ обратить вниманіе на нѣсколько небольшихъ Англійскихъ и Американскихъ поэмъ, болѣе всего отвѣчающихъ моему вкусу, или оставившихъ въ моемъ воображеніи наиболѣе опредѣленное впечатлѣніе: подъ „небольшими поэмами“ я разумѣю, конечно, поэмы небольшихъ размѣровъ. И здѣсь, въ самомъ началѣ, да будетъ мнѣ позволено сказать нѣсколько словъ относительно нѣкотораго положенія, которое, справедливо или несправедливо, всегда оказывало вліяніе на мою критическую оцѣнку поэтического произведенія. Я считаю, что длинной поэмы не существуетъ. Я утверждаю, что слова „длинная поэма“ суть прямое противорѣчіе въ терминахъ.

Врядъ ли нужно говорить, что какая-нибудь поэма заслуживаетъ свое названіе лишь въ той мѣрѣ, въ какой она возбуждаетъ, возвышая душу. Цѣнность поэмы находится въ прямомъ отношеніи къ ея возвышающему возбужденію. Но всѣ возбужденія, въ силу душевной необходимости, преходящи. Та степень возбужденія, которая могла бы надѣлать какую-нибудь поэму правомъ на такое

наименованіе, не можетъ быть выдержана въ произведеніи болѣе или менѣе значительныхъ размѣровъ. По истеченіи, самое большее, полчаса, оно ослабѣваетъ—падаетъ—возникаетъ непріязнь—и поэма, какъ таковая, болѣе не существуетъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что многіе нашли весьма труднымъ примирить критическую поговорку, гласящую о томъ, что „Потерянный Рай“ долженъ быть благоговѣнно чтимъ съ начала до конца, съ полной невозможностью сохранить при чтеніи этой поэмы требуемый этой поговоркой запасъ восхищенія. На самомъ дѣлѣ, это великое произведеніе можетъ быть разсматриваемо какъ поэтическое лишь въ томъ случаѣ, если, потерявъ изъ виду основное жизненное требованіе, которое мы предъявляемъ ко всѣмъ созданіямъ Искусства, Единство, мы будемъ разсматривать его лишь какъ рядъ небольшихъ поэмъ. Если для сохраненія Единства—цѣльности эффекта или впечатлѣнія—мы прочтемъ это произведеніе (какъ было бы необходимо) за одинъ присѣсть, въ результатѣ получится постоянная смѣна возбужденія и ослабленія чувства. Послѣ отрывка, который, мы чувствуемъ, есть истинная поэзія, неизбѣжно слѣдуетъ какая-нибудь плоскость, которою никакое критическое предубѣжденіе не принудитъ насъ восхищаться; но если, окончивъ чтеніе, мы перечтемъ поэму снова—опустивъ первую книгу, т. е. начавъ со второй—мы съ изумленіемъ увидимъ, что мы восхищаемся тѣмъ, что раньше осуждали—и осуждаемъ то, чѣмъ прежде такъ много восхищались. Изъ всего этого слѣдуетъ, что конечный, совокупный, или безусловный эффектъ даже лучшаго эпического произведенія, какое только существуетъ подъ солнцемъ, равняется нулю—и это такъ въ дѣйствительности.

Относительно Иліады у насъ есть, если не положительное доказательство, то по крайней мѣрѣ серьезное основаніе полагать, что она была задумана какъ рядъ лирическихъ произведеній; но, если допустить эпическій

замысль, я могу только сказать, что это произведение основано на несовершенномъ чувствѣ Искусства. Современный эносъ, слѣдую за предполагаемымъ древнимъ образцомъ, является лишь неосмотрительнымъ слѣпымъ подражаніемъ. По время такихъ художественныхъ аномалій прошло. Если когда-нибудь какая-нибудь длинная поэма была дѣйствительно популярна—въ чемъ я сомнѣваюсь—но крайней мѣрѣ ясно, что никогда больше никакая длинная поэма не будетъ популярна.

Что размѣры поэтического произведенія, *ceteris paribus*, являются мѣрою его цѣнности, эта мысль, какъ мы ее формулируемъ, представляется несомнѣнно положеніемъ въ достаточной степени нелѣпымъ—однако же мы ей обязаны нашимъ толстымъ Журналамъ. Конечно, нѣтъ ничего такого въ самыхъ *размѣрахъ*—нѣтъ ничего такого въ самой *толщинѣ* какого-нибудь тома, что такъ неизмѣнно вызываетъ восхищеніе у этихъ мрачныхъ памфлетистовъ! Гора, это вѣрно, черезъ посредство простого чувства физической величины *даетъ* намъ впечатлѣніе возвышеннаго—но никто не получить этого впечатлѣнія *такимъ* образомъ, хотя бы при видѣ вещественнаго величія „Колумбіады“. Даже толстые Журналы не научили насъ этому роду впечатлѣній. *Еще* они не *настаивали* на томъ, чтобы мы оцѣнивали Ламартина съ помощью кубического фута, или Поллока по фунтамъ, но что иное мы должны *вывести* изъ ихъ постоянной болтовни о „достаточно длительномъ усилии“? Если съ помощью „достаточно длительного усилія“ какой-нибудь господинчикъ написалъ эпическое произведение, восхвалимъ его чистосердечно за усиліе—если это дѣйствительно вещь похвальная—но воздержимся отъ похвалъ эпическому произведенію на почвѣ усилія. Можно надѣяться, что въ будущее время здравый смыслъ скорѣе будетъ рѣшать о какомъ-нибудь произведеніи искусства по тому впечатлѣнію, которое оно производитъ—по тому эффекту, которое оно оказываетъ—чѣмъ по тому времени, которое оно взяло для

созданія эффекта, или по тому количеству „длительнаго усиля“, которое найдено было необходимымъ, чтобы произвести впечатлѣніе. Фактъ тотъ, что упорство—одно, а гений—совершенно другое, и всё толстые Журналы въ мірѣ не смогутъ ихъ смѣшать. Современемъ это положеніе, вмѣстѣ со многими другими, только что мною выставленными, будетъ принято какъ очевидность. А пока, встрѣчая общее осужденіе, какъ нѣчто ложное, эти положенія не понесутъ существеннаго ущерба, какъ истины.

Съ другой стороны, ясно, что поэма не должна быть несоотвѣтствующимъ образомъ коротка. Излишняя краткость вырождается въ простой эпиграмматизмъ. *Очень* короткая поэма, хотя иногда и производитъ блестящее или яркое впечатлѣніе, никогда не создаетъ глубокаго или прочнаго эффекта. Печать должна упорно нажимать на воскъ. Беранже создалъ безчисленное множество язвительныхъ и живыхъ произведеній, но въ общемъ они были слишкомъ невѣсомы, чтобы глубоко запечатлѣться въ общественномъ вниманіи, и такимъ образомъ, наряду со столь многими пушинками фантазіи, они были вознесены вѣтромъ въ высь только для того, чтобы со свистомъ быть сдунутыми на землю.

Яркимъ примѣромъ того, какъ несоотвѣтствующая краткость понижаетъ впечатлѣніе поэмы и устраняетъ ее отъ общественнаго вниманія, является слѣдующая превосходная небольшая Серенада \*):

Я проснулся, задрожалъ,  
Мнѣ во снѣ явилась ты,  
Нѣжный вѣтеръ чуть дышалъ,  
Ночь свѣтила съ высоты:  
Я проснулся, задрожалъ,  
И не знаю почему,  
И не знаю какъ попалъ  
Я къ окошку твоему!

---

\*) Индійская мелодія Шелли. К. В.

Теплый воздух сладко спитъ  
На замедлившей волнѣ —  
Дышетъ чампакъ, и молчитъ,  
Какъ видѣніе во снѣ;  
Укоризны соловья  
Гаснуть, меркнуть близъ куста,  
Какъ умру, погасну я  
Близъ тебя, моя мечта!

Въ сердцѣ жгучая тоска,  
Я въ сырой травѣ лежу!  
Холодна моя щека,  
Я блѣднѣю, я дрожу.  
Пробудись же, и приди, —  
Мы простимся поутру, —  
И прильнувъ къ твоей груди,  
Отъ тревоги я умру!

Быть-можетъ, очень немногіе знаютъ эти строки, а между тѣмъ ихъ написалъ никто иной, какъ Шелли. Горячее, но деликатное и воздушное воображеніе, которымъ оно проникнуто, будетъ оцѣнено всѣми, но никто его не оцѣнитъ такъ полно, какъ тотъ, кто самъ просыпался отъ нѣжныхъ сновъ о возлюбленной, для того, чтобы войти въ волны ароматичнаго воздуха южной іюльской ночи.

Когда эпическая манія — когда мысль о томъ, что поэзія, для пріобрѣтенія цѣнности, непременно должна быть многословна — нѣкоторое время тому назадъ постепенно умерла въ общественномъ сознаніи въ силу повторенія собственной своей бессмысленности, на ея мѣсто возникла ересь, которая слишкомъ осязательно лжива, чтобы быть терпимой, но которая, за краткій періодъ своего существованія, можно сказать, сдѣлала больше для порчи нашей Поэтической Литературы, чѣмъ всѣ ея другіе непріатели вмѣстѣ. Я разумѣю ересь *Дидактики*. Гласно и негласно, прямо и косвенно, было допущено, что конечная цѣль всякой Поэзіи есть Истина. Каждая поэма, было сказано, должна проводить какую-нибудь мораль, и по этой морали должна быть

судима поэтическая цѣнность произведенія. Мы, Американцы, особенно способствовали этой счастливой идеѣ, и мы, Бостонцы, специальнымъ образомъ развили ее во всей полнотѣ. Мы забили себѣ въ голову, что написать поэму ради самой поэмы, и признавать, что таково было наше намѣреніе, это значило бы признаться въ полномъ отсутствіи истиннаго Поэтическаго достоинства и настоящей силы: — но фактъ тотъ, что, если бы мы потрудились заглянуть въ наши собственные души, мы немедленно открыли бы, что нѣтъ и не *можетъ* быть подъ солнцемъ произведенія болѣе исполненнаго достоинства и болѣе благороднаго, чѣмъ именно такая поэма, поэма *per se*, поэма, которая представляетъ изъ себя поэму и ничего больше, поэма, написанная только ради поэмы.

Преклоняясь передъ Истиннымъ такъ глубоко, какъ только это возможно для человѣка, я, тѣмъ не менѣе, въ извѣстной мѣрѣ ограничилъ бы способы его проведенія въ жизнь. Ограничилъ бы, чтобы усилить ихъ. Я не хотѣлъ бы ослаблять ихъ, разсѣивая. Требования Истины строги. Ее нелегко связать съ миртами. Все *то*, что необходимо въ Пѣснѣ, является именно *тѣмъ*, до чего *ей* нѣтъ ровно никакого дѣла. Наряжать ее въ жемчуга и цвѣты, значитъ создавать изъ нея мишурный парадоксъ. Для усиленія истины, мы нуждаемся скорѣе въ строгости, чѣмъ въ цвѣтахъ краснорѣчія. Мы должны быть простыми, ясными, точными. Мы должны быть холодными, спокойными, безстрастными. Словомъ, мы должны быть въ такомъ настроеніи, которое по возможности является полной противоположностью поэтическаго. *Слѣтъ* тотъ человѣкъ, который не видитъ кореннаго различія, цѣлой пропасти, лежащей между методомъ истины и методомъ поэзіи. Теоретически безуменъ и безнадеженъ тотъ, кто, несмотря на это различіе, будетъ настаивать еще на примиреніи Поэзіи и Истины, столь же упорно несливающихся, какъ масло и вода.

Раздѣляя область разума на три наиболѣе непосред-



ственно явныя области, мы имѣемъ Чистый Разсудокъ, Вкусъ, и Моральное чувство. Я помѣщаю Вкусъ въ серединѣ, потому что какъ разъ такое положеніе онъ занимаетъ въ самомъ Разумѣ. Онъ находится въ тѣсной связи съ двумя другими областями, но отъ Моральнаго Чувства онъ отдѣленъ отличіемъ столь слабымъ, что Аристотель не поколебался отнести нѣкоторыя изъ его проявленій къ числу самихъ добродѣтелей. Тѣмъ не менѣе, мы находимъ существенное отличіе между сферами *полномочія* тріады. Какъ Разсудокъ соприкасается съ Истиной, совершенно такъ же Вкусъ даетъ намъ пониманіе Прекраснаго, а Моральное Чувство слѣдитъ за Долгомъ. Относительно этого послѣдняго, въ то время какъ Совѣсть учитъ объ обязательствѣ, а Разумъ о цѣлесообразности, Вкусъ ограничивается простымъ обнаруженіемъ чаръ, объявляя войну Пороку лишь на основаніи его безобразія, его несоразмѣрности, его вражды къ приспособленному, къ надлежащему, къ гармоничному, словомъ, къ Красотѣ.

Безсмертный инстинктъ, заложенный глубоко въ чело-вѣческомъ духѣ, является, такимъ образомъ, просто чувствомъ Красоты. Это именно онъ заставляеть его наслаждаться многообразными формами, и звуками, и запахами, и ощущеніями, среди которыхъ онъ существуетъ. И совершенно такъ же, какъ лилія повторена въ озерѣ, или глаза Амариллисъ въ зеркалѣ, словесное или письменное повтореніе этихъ формъ и звуковъ, и красокъ, и запаховъ, и ощущеній представляетъ изъ себя двойной источникъ наслажденія. Но такое простое повтореніе не есть Поэзія. Тотъ, кто просто будетъ воспѣвать, хотя бы съ самымъ пламеннымъ энтузіазмомъ, и хотя бы съ самой яркой правдивостью описанія, воспѣвать эти картины, и звуки, и запахи, и краски, и чувства, идущія *къ нему* навстрѣчу вмѣстѣ со всѣмъ чело-вѣчествомъ—тотъ, говорю я, еще не доказалъ своихъ правъ на божественное наименованіе. Есть еще что-то, въ разстояніи, котораго онъ не могъ достигъ.

Есть еще въ насъ непогасимая жажда, и онъ не показалъ намъ кристальныхъ источниковъ, чтобы утишить ее. Эта жажда связана съ бессмертіемъ человѣка. Она одновременно является и слѣдствіемъ, и указаніемъ его вѣчнаго существованія. Это — стремленіе ночной бабочки къ звѣздѣ. Это — не простое воспріятіе Красоты, находящейся предъ нами, но безумное стремленіе достигъ Красоты, что выше насъ. Вдохновенные экстатическимъ предвѣдніемъ сіяній, находящихся за предѣлами могилы, мы стремимся многообразными сочетаніями, среди явленій и мыслей Времени, достигъ хотя части того Очарованія, самые элементы котораго, быть-можетъ, принадлежать только Вѣчности. И такимъ образомъ, когда мы взволнованы до слезъ Поэзіей, или Музыкой, самымъ зачаровывающимъ изъ поэтическихъ настроеній, мы плачемъ не отъ избытка наслажденій, какъ предполагаетъ Гравина, а отъ извѣстной нетерпѣливой, непримиримой скорби, потому что мы неспособны захватить *теперь*, сполна, здѣсь, на землѣ, разъ навсегда, тѣ божественныя и блаженно-изступленныя радости, изъ которыхъ, *черезъ* поэму, или *черезъ* музыку, мы достигаемъ лишь краткихъ и неясныхъ проблесковъ.

Полное борьбы, стремленіе постичъ высшее Очарованіе — стремленіе душъ, надлежащимъ образомъ къ этому предназначенныхъ — дало міру все *то*, что онъ былъ способенъ понять и *почувствовать* какъ поэтическое.

Поэтическое Чувство, конечно, можетъ развиваться различнымъ образомъ — въ Живописи, въ Ваяніи, въ Архитектурѣ, въ Пляскѣ — совершенно особенно въ Музыкѣ, и совершенно особеннымъ образомъ въ созданіи Садоваго Ландшафта. Въ настоящее время, однако, мы хотимъ разсмотрѣть только его проявленія въ словахъ. Довольствуясь увѣренностью въ томъ, что Музыка, въ различныхъ способахъ размѣра, ритма, и риемы, является столь важнымъ моментомъ въ Поэзіи, что никогда не можетъ быть разумно отброшена — является столь жизненнымъ,

важнымъ добавленіемъ, что глупъ тотъ, кто избѣгаетъ ея помощи, я не буду въ данную минуту останавливаться на утвержденіи ея безусловной существенности. Быть-можетъ, именно въ Музыкѣ душа становится всего ближе къ великой цѣли, къ которой она стремится, когда она находится подъ вліяніемъ Поэтическаго Чувства—къ созданію высшей Красоты. *Можетъ* быть, что на самомъ дѣлѣ здѣсь эта возвышенная цѣль, время отъ времени, бываетъ достигнута въ *фактѣ*. Нерѣдко, съ трепетнымъ восторгомъ, мы чувствуемъ, что изъ земной арфы исторгнуты звуки, которые *не могли* не быть знакомы ангеламъ. И такимъ образомъ, врядъ ли можно сомнѣваться, что въ соединеніи Поэзіи съ Музыкой, въ ея общепринятомъ смыслѣ, мы найдемъ самое широкое поле для поэтическаго развитія. Старые Барды и Миннезингеры имѣли преимущества, которыми мы не обладаемъ—и Томасъ Муръ, когда онъ пѣлъ свои собственныя пѣсни, самымъ законнымъ образомъ усовершенствовалъ ихъ какъ поэмы.

Говоря вкратцѣ: я хотѣлъ бы опредѣлить Поэзію словъ какъ *Ритмическое Созданіе Красоты*. Ея единственнымъ верховнымъ судьей является Вкусъ; съ Разсудкомъ или съ Совѣстью она имѣетъ только побочное соотношеніе. Она не имѣетъ съ Долгомъ, или съ Истиной, никакой связи, кромѣ случайной.

Однако нѣсколько пояснительныхъ словъ: *то* наслажденіе, которое является одновременно самымъ чистымъ, самымъ возвышеннымъ, и самымъ напряженнымъ, я утверждаю, проистекаетъ изъ созерцанія Красиваго. Только въ созерцаніи Красоты мы находимъ возможнымъ достигнуть той сладостной высоты, или возбужденности *Души*, которую мы признаемъ Поэтическимъ Чувствомъ, и которую мы легко можемъ отличить отъ Истины, являющейся удовлетвореніемъ Разсудка, или отъ Страсти, являющейся возбужденіемъ сердца. Я объявляю Красоту—включая въ это слово понятіе возвышеннаго—я объявляю Красоту закон-

ной областью поэмы просто потому, что, какъ гласить намъ полное очевидности правило Искусства, эффе́кты должны проистекать изъ соотвѣтственныхъ причинъ наивозможно непосредственно: никто еще не былъ настолько слабъ, чтобы отрицать, что упомянутая своеобразная высота по крайней мѣрѣ *всего легче* можетъ быть достигнута въ поэмѣ. Никоемъ образомъ, однако, не слѣдуетъ, чтобы возбужденіе Страсти или предписаніе Долга, или даже поученіе Истины не могли быть съ пользой вводимы въ поэму; они могутъ различнымъ образомъ побочно оказывать содѣйствіе общимъ задачамъ произведенія:—но истинный художникъ всегда сумѣетъ удержать ихъ въ надлежащемъ подчиненіи той *Красотѣ*, которая представляетъ изъ себя атмосферу и дѣйствительную сущность поэмы.

Я не могу лучше рекомендовать тѣ небольшія поэмы, которыя я хочу предложить вашему вниманію, какъ процитировавъ предисловіе къ „Затерянному“ Лонгфелло:

Вотъ и день отошелъ, и у Ночи  
Легкій сумракъ спадаетъ съ крыла,  
Какъ перо иногда упадаетъ  
Отъ летящаго мимо орла.  
Тамъ я вижу, огни вдоль деревни  
Сквозь туманъ и сквозь дождикъ горять,  
И томительнымъ чувствомъ печали,  
Противъ воли, я властно объять.  
Этимъ чувствомъ томленья и грусти,  
Что несродно съ тревогою ранъ,  
И походить на муку лишь такъ же,  
Какъ походятъ дожди на туманъ.  
Сядь со мной, почитай мнѣ, окутай  
Безъискусственной пѣсней меня,  
Чтобы я успокоилъ томленья  
И забылъ помышленія дня.  
Не изъ старыхъ великихъ поэтовъ,  
Не изъ бардовъ, пѣвучихъ какъ сонъ,  
Чьи шаги отдаленные, эхомъ,  
Будятъ звонъ въ коридорахъ Временъ.

Нѣтъ, какъ громы военного марша  
Этихъ мыслей высокихъ прибой  
Мнѣ напомнить житейскія битвы;  
А сегодня мнѣ нуженъ покой.  
Нѣтъ, прочти мнѣ смиренныя пѣсни  
Незамѣтнаго міру пѣвца,  
Что возникли, какъ дождикъ изъ тучи,  
Что упали, какъ слезы съ лица.  
Тѣ немудрыя пѣсни, что, скудный,  
Онъ слагалъ по ночамъ и по днямъ,  
Утомленной душою внимая  
Для него трепетавшимъ струнамъ.  
Эти пѣсни умѣютъ такъ кротко  
Умиленіе въ сердцахъ создать,  
Какъ въ сердцахъ у молящихся—тихо  
Отъ молитвы горитъ благодать.  
Такъ читай же изъ книги завѣтной,  
Что откроешь, то звучно скажи,  
И въ пѣвучую думу поэта  
Свой чарующій голосъ вложи.  
И наполнится ночь благозвучьемъ,  
И заботы, въ тотъ сладостный часъ,  
Какъ Арабы, шатры свои сложать,  
И безмолвно исчезнуть отъ насъ.

При небольшомъ подъемѣ воображенія, эти строки справедливо любимы за деликатность выраженія. Нѣкоторые изъ образовъ очень выразительны. Ничего не можетъ быть лучше, какъ

— бардовъ, пѣвучихъ какъ сонъ,  
Чьи шаги отдаленные, эхомъ,  
Будя въ коридорахъ Врементъ.

Мысль послѣдняго четверостишія тоже очень выразительна. Въ пѣломъ, однако, поэма должна быть чтима за изящную *небрежность* размѣра, такъ хорошо согласующуюся съ характеромъ вложенныхъ въ нее чувствъ, и въ особенности за *легкость* общей манеры. Эту „легкость“, или естественность, въ литературномъ стилѣ долгое время было въ модѣ разсматривать, какъ легкость лишь по ви-

димости—какъ пунктъ въ дѣйствительности труднаго достиженія. Но это не такъ: естественная манера трудна только для того, кто никогда не хотѣлъ бы имѣть съ ней дѣло—для неестественнаго. При писаніи съ разумѣніемъ, или съ чутьемъ, получается неизбѣжно тотъ *тонъ* въ творчествѣ, который масса человѣчества должна принять—и конечно онъ постоянно долженъ мѣняться въ соотвѣтствіи съ случаемъ. Авторъ, который, по образцу „The North American Review“, захотѣлъ бы во *всѣхъ* случаяхъ быть только „спокойнымъ“, по необходимости долженъ былъ бы въ *нѣкоторыхъ* случаяхъ быть просто тупымъ или глупымъ, и имѣлъ бы не болѣе правъ считаться „легкимъ“, или „естественнымъ“, чѣмъ уличный зѣвака—изящнымъ, или Спящая Красавица, воплощенная въ восковыхъ фигурахъ.

Среди небольшихъ поэмъ Брайэнта ни одна не произвела на меня такого сильнаго впечатлѣнія, какъ поэма, озаглавленная „Іюнь“. Я привожу отрывокъ изъ нея.

Тамъ долго, много такъ часовъ,  
Свѣтъ будетъ золотиться,  
И стебли травъ, и блескъ цвѣтовъ  
Плѣнительно свѣтиться.  
Тамъ иволга, среди вѣтвей,  
Близъ кельи ласковой моей,  
Любовь свою расскажетъ;  
Мелькнетъ колибри, и пчела,  
И мотылекъ огнемъ крыла  
Себя съ цвѣтками свяжетъ.

И въ полдень свѣтлыхъ звуковъ рой  
Изъ дали донесется,  
И пѣсня дѣвы подъ луной  
Со смѣхомъ фей сольется.  
Въ вечерній часъ, рука съ рукой,  
Пройдетъ мечтатель молодой  
Съ своей невѣстой милой,  
И будетъ нѣжно все кругомъ,  
Все будетъ вѣять свѣтлымъ сномъ  
Передъ моей могилой.

Я знаю, знаю, тотъ расцвѣтъ  
Не для меня зажжется,  
Не мнѣ блеснетъ тотъ вешній свѣтъ  
И музыка полется;  
Но, если тамъ, гдѣ буду спать,  
Мои друзья придутъ мечтать,  
Спѣшить они не станутъ:  
Имъ пѣсни, воздухъ, свѣтъ, расцвѣтъ  
Нашепчутъ сказку прошлыхъ лѣтъ,  
Задержать ихъ, обмануть.

Обманомъ нѣжнымъ, сладкимъ сномъ  
Они въ нихъ мысль пробудятъ  
О томъ, кто съ ними свѣтъ кругомъ  
Дѣлать мечтой не будетъ;  
О томъ, кто въ это торжество  
Войдетъ однимъ лишь—что его  
Могила зеленѣетъ,  
И имъ захочется въ тотъ мигъ,  
Чтобъ онъ предъ ними вновь возникъ,  
И вотъ онъ въ мысляхъ рветъ.

Ритмическая плавность здѣсь даже имѣетъ въ себѣ нѣчто чувственное—нельзя достигнуть большей мелодичности. Эта поэма всегда производила на меня совершенно особенное впечатлѣніе. Мы чувствуемъ, что глубокая печаль, которая какъ бы неизбежно доходитъ брызгами до поверхности всѣхъ этихъ свѣтлыхъ настроеній поэта, связанныхъ съ его могилой, заставляетъ насъ вздрогнуть въ глубинѣ нашей затрепетавшей души—и въ этомъ трепетѣ кроется самая истинная поэтическая высота. Впечатлѣніе, которое остается, полно сладостной грусти. И если въ тѣхъ произведеніяхъ, которыя я еще приведу, неизмѣнно будетъ чувствоваться, въ большей или меньшей степени, подобное же настроеніе, да будетъ мнѣ позволено напомнить, что этотъ извѣстный оттѣнокъ печали (какъ, или почему, мы не знаемъ) неразрывно связанъ со всѣми высшими проявленіями истинной Красоты. Тѣмъ не менѣе—

Это—чувство томленья и грусти,  
Что несходно съ тревогою ранъ,  
И походить на муку лишь такъ же,  
Какъ походятъ дожди на туманъ.

Оттѣнокъ, о которомъ я говорю, явственно чувствуется даже въ такой, полной блеска и жизни, поэмѣ, какъ „Заздравный тостъ“ Эдуарда Кута Пинкни.

Я пью здоровье красоты,  
Услады всѣхъ сердець,  
Что между женщинъ—сонъ мечты,  
Блестящій образецъ;  
Въ ней звѣзды лучшей свѣтъ зажгли,  
Такъ много въ ней чудесъ,  
Что въ ней, какъ въ воздухѣ, земли  
Не столько, какъ небесъ.

Въ ней, что ни скажешь, просвѣтлѣвъ —  
Есть пѣнье птицъ, съ зарей,  
И что-то больше, чѣмъ напѣвъ,  
Блится въ рѣчи той;  
Чеканка сердца въ ней свѣтла,  
И каждое изъ словъ—  
Какъ отягченная пчела  
На лепесткахъ цвѣтовъ.

Какъ мысли, чувства—циферблатъ  
Во всѣхъ ея часахъ,  
И чувства свѣжестью горять,  
Какъ сонъ весны въ цвѣтахъ;  
Мѣняясь, ночи въ ней и дни  
Струять свой нѣжный свѣтъ,  
Она, мѣняясь, какъ они,  
Есть образъ прошлыхъ лѣтъ!

Лишь бѣгло на нее взглянуть —  
Картина для мечты,  
Ее узнавъ когда-нибудь,  
Хранишь ея черты;



И такъ мнѣ памятенъ тотъ ликъ,  
Что, если свѣтъ очей  
Погасить смерть, въ послѣдній мигъ  
Лишь вспомню я--о ней.

Я пью здоровье красоты,  
Услады всѣхъ сердець,  
Что между женщинъ—сонъ мечты,  
Блестящій образецъ!  
Итакъ, да здравствуетъ она,--  
И будь такія здѣсь,  
Жизнь стала бь музыкою сна,  
Миръ сталъ бы свѣтлымъ весь!

Истинное злополучіе для Мистера Пинкни, что онъ родился на дальнемъ Югѣ. Будь онъ гражданиномъ Новой Англи, вполне вѣроятно, что онъ былъ бы сочтенъ первымъ изъ Американскихъ лириковъ той великодушной кликой, которая такъ долго завѣдывала судьбами Американской литературы, руководя той вещью, чье имя „The North American Review“. Поэма, только что процитированная, совсѣмъ особенно красива; но поэтическую высоту, создаваемую ею, мы должны главнымъ образомъ поставить насчетъ нашей симпатіи къ энтузіазму поэта. Мы извиняемъ его гиперболы, въ виду несомнѣнной серьезности, съ которой они произнесены.

Однако, я отнюдь не задавался цѣлью распространяться о *достоинствахъ* приводимыхъ мною стихотвореній. Они могутъ говорить сами за себя. Боккалини, въ своихъ „Предувѣдомленіяхъ съ Парнаса“, рассказываетъ намъ, что Зоиль однажды представилъ Аполлону чрезвычайно явительный критическій разборъ одной очень хорошей книги:—богъ спросилъ его о красотахъ этого произведенія. Тотъ отвѣчалъ, что онъ былъ занятъ только недостатками. Тогда Аполлонъ, вручивъ ему мѣшокъ неprovѣянной пшеницы, велѣлъ ему въ награду выбрать оттуда *всю мякуну*.

Эта притча весьма дѣйствительна, какъ насмѣшка надъ

критиками, но я вовсе не увѣренъ, что богъ былъ правъ. Я вовсе не увѣренъ, что истинныя границы критическихъ обязанностей не попораны самымъ грубымъ образомъ. Превосходство, въ особенности въ поэмѣ, можетъ быть разсматриваемо въ свѣтѣ аксіомы, которая должна быть только правильно установлена, чтобы сдѣлаться самой очевидной. Это не превосходство, если оно требуетъ, чтобы его доказывали:—и такимъ образомъ, указывать частично на достоинства какого-нибудь произведенія искусства, это значить допускать, что они вовсе не достоинства.

Среди „Мелодій“ Томаса Мура есть одна, отличительный характеръ которой, какъ поэмы, страннымъ образомъ обходился молчаніемъ. Я намекаю на стихотвореніе, начинающееся словами—„Подойди, отдохни здѣсь со мною“. Напряженная энергія выраженія не уступаетъ здѣсь Байроновскимъ стихотвореніямъ. Здѣсь есть двѣ строки, въ которыхъ выражены чувства, воплощающія *цѣликомъ* божественную страсть любви—чувство, нашедшее себѣ отзвукъ въ большемъ числѣ человѣческихъ сердець, и въ сердцахъ болѣе страстныхъ, чѣмъ какое-нибудь другое отдѣльное чувство, когда-либо воплощенное въ словахъ.

Подойди, отдохни здѣсь со мною, мой израненный, бѣдный олень.  
Пусть твои отъ тебя отшатнулись, здѣсь найдешь ты желанную сѣнь.

Здѣсь всегда ты увидишь улыбку, надъ которой не властна гроза,  
И къ тебѣ обращенные съ лаской, неизмѣнно-родные глаза!

Только въ томъ ты любовь и узнаешь, что она неизмѣнна всегда,  
Въ лучезарныхъ восторгахъ и въ мукахъ, въ торжествѣ и подъ гнетомъ стыда.

Ты была ли виновна, не знаю, и своей ли, чужой ли виной,  
Я люблю тебя, слышишь, всѣмъ сердцемъ, всю, какая ты здѣсь, предо мной.

Ты меня называла Защитой, въ дни, когда улыбались огни,  
И твоею я буду Защитой въ эти новые, черные дни.  
Передъ огненной пыткой не дрогну, за тобой не колеблясь пойду,  
И спасу тебя, грудью закрою, или рыцаремъ честно паду!

За послѣднее время было принято отрицать у Мура Воображеніе (Imagination), соглашаясь, что у него есть Фантазія (Fancy)—различіе, созданное Кольриджемъ—человѣкомъ, лучше чѣмъ кто-либо понимавшимъ творческія силы Мура во всемъ ихъ объемѣ. Фактъ тотъ, что фантазія до такой степени господствуетъ надъ всѣми другими способностями этого поэта, и надъ фантазіей всѣхъ другихъ людей, что естественнымъ образомъ возникла мысль, будто онъ *только* фантастиченъ.

Но никогда не было большаго недоразумѣнія, никогда не оказывалось большей несправедливости по отношенію къ славѣ истиннаго поэта. Изъ всѣхъ поэмъ, написанныхъ на Англійскомъ языкѣ, я не могу указать ни одной, исполненной такого глубокаго—такого зачарованнаго *воображенія*, въ лучшемъ смыслѣ этого слова, какъ стихотвореніе Томаса Мура, начинающееся словами—„Если бъ былъ я у этого тусклаго озера“.

Однимъ изъ самыхъ благородныхъ—и если говорить о Фантазіи—однимъ изъ наиболѣе своеобразно фантастичныхъ современныхъ поэтовъ былъ Томасъ Гудъ. Его „Прекрасная Инесь“ всегда имѣла для мѣня невыразимое очарованіе.

Ты видѣлъ перль земли, Инесь?

Она на Западъ скрылась,

Чтобы безъ солнца ослѣплять,

Чтобъ сна земля лишилась.

Она свѣтъ дня взяла съ собой,

Съ воздушною улыбкой,

Блескъ утра—на ея щекахъ,

На груди—жемчугъ зыбкій.

Вернись, о, перль земли, Инесь,

До наступленья ночи,

А то Луна взойдетъ одна,

И звѣздъ зажгутся очи;

И нѣжно любящій вздохнетъ

Подъ лаской ихъ сіянья,

И рассказать не смѣю я

Всю тайну ихъ сміянья!

Когда бы былъ я, о, Инесь,  
Тѣмъ бравымъ кавалеромъ,  
Что близко такъ тебѣ шепталъ,  
И на конѣ былъ съромъ!  
Нѣтъ развѣ тамъ прекрасныхъ дамъ,  
Нѣтъ развѣ здѣсь правдивыхъ,  
Что взялъ онъ за море отъ насъ  
Красавицу красивыхъ?

Я вижу нѣжную Инесь,  
Она на берегъ сходить,  
Ее со знаменемъ толпа  
Изысканныхъ уводитъ;  
Рой свѣтлыхъ юношей и дѣвъ,  
Снѣгъ перьевъ серебрился;  
О, это былъ бы чудный сонъ,—  
Когда бъ онъ прекратился!

Увы, о, перль земли, Инесь,  
Она ушла подъ пѣнье.  
За нею музыка вослѣдъ,  
Толпа и восхищенье;  
Но грустенъ — грустенъ былъ иной,  
И пѣньемъ огорчался,  
Что пѣло намъ „Прощай, прощай,  
Съ любимой ты разстался“.

Прощай, прощай, мечта, Инесь,  
Нѣтъ, перль земли качая,  
Легко такъ не плясать корабль,  
Блаженство похищая,—  
Увы, блаженство на волнахъ,  
На берегу рыданье!  
Улыбка — счастье одному,  
Для многихъ — мракъ страданья!

„Заколдованный домъ“ того же автора является одной изъ самыхъ *истинныхъ* поэмъ, когда-либо написанныхъ, одной изъ самыхъ безукоризненныхъ, самыхъ художественныхъ, какъ по замыслу, такъ и по исполненію. Кромѣ

того, это стихотвореніе могуче по своей идеальности — по характеру вложеннаго въ него воображенія. Къ сожалѣнію его размѣры не позволяютъ привести его въ видѣ цитаты. Въмѣсто него, я позволю себѣ процитировать всѣми признанный „Мостъ вздоховъ“.

Еще несчастливая  
Устала дышать,  
Ушла, торопливая,  
Лежить, чтобъ не встать

Ее равнодушною  
Не троньте рукой;  
Такую воздушную —  
Берите съ мольбой.

Глядите, покровами,  
Какъ будто суровыми  
Могильными тканями,  
Покрыта она;  
Какъ будто съ рыданьями  
Къ ней льнула волна;  
Не тронь проклинавьями  
Безмолвіе сна,  
Она молода, и нѣжна.

Не съ мрачнымъ презрѣніемъ,  
Съ тоской, съ сожалѣніемъ,  
Склонись человѣчески къ ней;  
Нѣтъ больше въ ней темнаго,  
Лишь чары въ ней скромнаго,  
Въ ней женственность стала нѣжной.

Брось думу пытливаю, —  
Мятежна ль она;  
Душа — торопливаю  
Судить не должна;  
Исчезло все черное,  
Все стерлось позорное,  
И какъ она въ смерти нѣжна!

Ея заблужденія  
Достойны прощенія,  
Дочь Евы прости,  
Съ устъ, полныхъ забвенія,  
Сотри загрязненіе,  
И волосы ей поспѣвши заплести,  
Каптаново-темные,  
Длинна ихъ волна,—  
Вопросы встають бесполезно-нескромные:  
Откуда она?

Кто былъ ей отецъ? Кто родимая?  
Иль можетъ быть братъ былъ у ней?  
Сестра? Иль подруга любимая?  
Иль кто-нибудь ближе, тѣснѣй  
Съ ней связанный,  
Сердцемъ указанный,  
Кто всѣхъ былъ желаннѣе ей?

О, гдѣ милосердіе?  
Какъ рѣдко оно!  
Нѣтъ въ сердцѣ усердія,  
И сердце темно.  
Подумать — что людными  
Столица домами полна,  
Но съ мыслями трудными  
Была безъ пріюта она!

Что матерью звалось,  
Отцомъ нарекалося,  
Что братомъ звалось, и сестрой,  
Все вдругъ измѣненное,  
Раасталось съ душой,  
Любовь оскорбленная  
Осталась одной;  
Какъ будто отъ самыхъ Небесъ отчужденная,  
Стояла она надъ волной.

И лампы дрожащія  
Вдоль темной рѣки,  
И всюду горящіе  
Тамъ въ окнахъ огни, огоньки,

Съ громадою темною  
Тяжелыхъ домовъ  
Давили бездомную,  
Ее, что утратила кровь.

Подъ вѣтромъ пронзительнымъ  
Дрожала она;  
Потокомъ стремительнымъ  
Рѣка убѣгала, темна,  
Но ей не страшна:  
Всей повѣстью жизни обманута,  
И тайною смерти притянута,  
Спѣшитъ она въ пропасть и въ ночь,  
И силы вдругъ прибыло:  
Куда бы то ни было,  
Скорѣе, скорѣе, куда бы то ни было,  
Но только изъ міра ужаснаго прочь!

Безъ-удержу ринулась,—  
Что холодъ воды!  
Въ безвѣстность откинулась  
Отъ здѣшней бѣды.  
Ты съ волей желѣзною,  
Ты, взявшій свое,—  
Ты, можешь надъ бездною  
Представить ее?  
Коль знаешь, какъ зыбкою  
Явилась вода,—  
Пей воду съ улыбкою,  
Въ ней мойся тогда.

Ее равнодушною  
Не троньте рукой;  
Такую воздушную—  
Берите съ мольбой.  
Мечтою послушною  
Щадите безмолвіе сна,  
Она молода и нѣжна.  
Еще не застывшее,  
Несчастно любившее,

Сложите какъ слѣдуетъ тѣло ея,  
Закройте безсонные  
Глаза ослѣпленные,  
Упорно хранящіе горе свое.

Сквозь плѣсень холодную,  
Сквозь муть эту водную,  
Такъ страшно глядѣть неотступный тотъ взоръ.  
И нѣтъ въ немъ раскаянья,  
Въ немъ только отчаянье,  
Въ немъ дерзкая смѣлость и горькій укоръ.

Убитой мученіемъ,  
Жестокимъ презрѣніемъ,  
Бездушьемъ людскимъ,  
Горящимъ безумьемъ своимъ,—  
Сложите ей руки — какъ будто съ моленіемъ,  
Какъ будто она со смиреніемъ  
Лежитъ, утомившись борьбой,—  
Да будетъ ей вѣчный покой!  
Ея прегрѣшенія,  
Признавши, простимъ,  
И кротко, ея заблужденія  
Спасителю все предадимъ!

Сила этой поэмы не менѣ замѣчательна, чѣмъ ея пафосъ. Версификація, хотя и доводитъ фантастичность почти до причудливости, тѣмъ не менѣ, превосходно соотвѣтствуетъ дикому безумію, являющемуся сюжетомъ поэмы.

Среди небольшихъ поэмъ Лорда Байрона есть одна, никогда не получавшая отъ критиковъ тѣхъ похвалъ, которыхъ она несомнѣнно заслуживаетъ: „Хотя день мой достигъ до заката...“ Хотя ритмъ этой поэмы одинъ изъ самыхъ трудныхъ, версификація врядъ ли можетъ быть улучшена. Никогда поэтъ не задавался болѣе благородной темой. Какая это душу возвышающая мысль, что ни одинъ человекъ не можетъ считать себя въ правѣ сѣтовать на Судьбу, пока въ своихъ превратностяхъ онъ продолжаетъ сохранять, чуждую колебаній, любовь женщины.



Изъ Альфреда Тэннисона, хотя, говоря чистосердечно, я считаю его благороднѣйшимъ изъ поэтовъ, когда-либо жившихъ, я процитирую лишь коротенькое стихотвореніе. Я называю его, и *считаю* его благороднѣйшимъ изъ поэтовъ *не* потому, чтобы впечатлѣнія, имъ создаваемыя, были *всегда* наиболѣе глубокими — *не* потому, чтобы поэтическое возбужденіе, имъ вызываемое, было *всегда* наиболѣе напряженнымъ — но потому, что оно *всегда* наиболѣе воздушно — другими словами, оно наиболѣе возвышающее и самое чистое. Ни одинъ поэтъ не имѣетъ въ себѣ такъ мало отъ земли, такъ мало земного. Я процитирую отрывокъ изъ послѣдней его длинной поэмы „The Princess“.

О, слезы, слезы! Что въ васъ, я не знаю.  
Изъ глубины какой-то высшей боли  
Вы къ сердцу подступаете, къ глазамъ,  
Глядящимъ на желтѣющія нивы,  
На призракъ дней, которыхъ больше нѣтъ.

Вы свѣжи, словно первый лучъ, что глянулъ  
На корабль, любимыхъ намъ вернувшемъ,  
Вы грустны, какъ послѣдній лучъ, вдали,  
На корабль, увлекшемъ наше счастье,  
Такъ грустны дни, которыхъ больше нѣтъ.

О, странно грустны, какъ въ разсвѣтѣ лѣтнемъ  
Крикъ сонныхъ птицъ, сквозь сонъ поющихъ пѣсни  
Для гаснущаго слуха, въ часъ когда  
Горитъ окно для гаснущаго взора,—  
Такъ странны дни, которыхъ больше нѣтъ.

Желанные, какъ сладость подѣлуевъ,  
Какъ сладость ласкъ, что мыслимъ мы, съ тоскою,  
На чуждыхъ намъ устахъ,— и какъ любовь,  
Какъ первая любовь, безумны, страстны,  
Смерть въ Жизни,— дни, которыхъ больше нѣтъ.

Итакъ, хотя очень бѣглымъ и неполнымъ образомъ, я попытался представить вамъ мое понятіе о Поэтическомъ Принципѣ. Моей задачей было дать вамъ почувствовать,

что въ то время, какъ этотъ Принципъ самъ по себѣ есть ничто иное, какъ Человѣческое Стремленіе къ Высшей Красотѣ, проявленіе этого Принципа всегда сказывается въ *возвышающемъ возбужденіи души*, совершенно независимо отъ той страсти, которая есть опьяненіе сердца, или отъ той истины, которая есть удовлетвореніе Разсудка. Ибо, что касается страсти — увь! — она имѣетъ склонность скорѣе унижать, чѣмъ возвышать Душу. Любовь, напротивъ, — Любовь — истинный, божественный Эросъ, Уранійская Венера, въ отличіе отъ Діонисовой — безспорно является самой чистой и самой истинной изъ всѣхъ поэтическихъ темъ. Что же касается до Истины, если, конечно, черезъ достиженіе какой-нибудь Истины мы приведены къ воспріятію гармоніи раньше намъ не видной, мы испытываемъ тотчасъ истинно поэтическій эффектъ, но этотъ эффектъ долженъ быть отнесенъ единственно къ гармоніи, никакимъ образомъ не къ истинѣ, послужившей лишь для проявленія гармоніи.

Мы достигнемъ однако болѣе непосредственно вполне отчетливаго представленія о томъ, что есть истинная Поэзія, простымъ указаніемъ на нѣкоторыя обыкновенныя явленія, вызывающія въ Поэтѣ истинно поэтическое впечатлѣніе. Онъ признаетъ амброзію, питающую его душу, въ блестящихъ свѣтилахъ, которыя сіяютъ на небѣ, въ завиткахъ цвѣтка, въ гроздеобразномъ скопленіи низкихъ кустарниковъ, въ колыханіи нивъ, въ косвенномъ уклонѣ высокыхъ Восточныхъ деревьевъ, въ голубыхъ даялахъ горъ, въ группировкѣ облаковъ, въ мерцаніи полусокрытыхъ источниковъ, въ сверканіи серебряныхъ рѣкъ, въ спокойствіи глухихъ озеръ, въ отражающихъ звѣзды глубинахъ уединенныхъ водоемовъ. Онъ воспринимаетъ ее въ пѣвнѣ птицъ, въ Золовой арфѣ, во вздохахъ ночного вѣтра, въ сѣтующемъ ропотѣ лѣса, въ бурнѣ, бьющемся о берегъ съ жалобой, въ свѣжемъ дыханіи лѣсовъ, въ запахѣ фіалки, въ чувственномъ ароматѣ гіацинта, въ исполненномъ наме-

ковъ ароматъ, который доходитъ до него на вечерней волнѣ съ отдаленныхъ, неоткрытыхъ острововъ, черезъ пространство дымныхъ океановъ, безграничныхъ, неизслѣдованныхъ. Онъ владѣетъ ею во всѣхъ благородныхъ мысляхъ, во всѣхъ немірскихъ побужденіяхъ, во всѣхъ священныхъ порывахъ, во всѣхъ рыцарскихъ, великодушныхъ, исполненныхъ жертвы, дѣяніяхъ. Онъ чувствуетъ ее въ красотѣ женщины, въ граціи ея походки, въ блескѣ ея глазъ, въ мелодіи ея голоса, въ ея нѣжномъ смѣхѣ, въ ея вздохѣ, въ гармоническомъ шелестѣ ея платья. Онъ глубоко чувствуетъ ее въ притягательномъ ея очарованіи, въ ея пламенномъ энтузіазмѣ, въ ея нѣжномъ милосердіи, въ ея мягкомъ и благоговѣйномъ терпѣніи; но больше всего, о, безмѣрно больше всего, онъ преклоняется передъ ней, онъ молится ей въ вѣрѣ, въ чистотѣ, въ силѣ, во всемъ божественномъ величіи ея *любви*.

Да будетъ мнѣ позволено въ заключеніе прочесть еще небольшое стихотвореніе, совершенно отличающееся по характеру отъ любого изъ стихотвореній, которыя я приводилъ раньше. Оно принадлежитъ Мосзервеллю и называется „Пѣсня Рыцаря“. Съ нашими современными и совершенно рационалистическими идеями о безмысленности и незаконности войны, мы не находимся, конечно, въ такихъ условіяхъ мышленія, чтобы быть способными симпатизировать чувствамъ, вложеннымъ въ поэму, и такимъ образомъ въ должной степени одѣннить ея истинное превосходство. Чтобы сдѣлать это вполнѣ, мы должны отождествить себя въ воображеніи съ душою рыцаря старыхъ дней.

Коня! коня! и острый мечъ!  
Сюда, мой бодрый конь.  
Коня и мечъ, чтобъ зло пресѣчь,  
Быть быстрымъ, какъ огонь.  
Намъ ржанье браннаго коня,  
И громкій барабанъ,  
И звукъ трубы, какъ зовъ борьбы,  
Есть вѣсть небесныхъ странъ.

О, строй сомкнувшихся борцовъ!  
Ихъ клики прозвучать,  
И ангелъ вдругъ сойdetъ въ ихъ кругъ,  
И дьяволъ бросить адъ.

Скорѣй же, други, на коней,  
Всѣ въ шлемахъ, и впередъ.  
Намъ въ схваткѣ есть Почетъ и Честь.  
Насъ къ битвѣ Смерть зоветъ.  
Въ глазахъ не будетъ ни слезы,  
Разъ мечъ въ рукахъ у насъ.  
Безстрастна грудь, и всякъ забудь  
О блескѣ милыхъ глазъ.  
Пусть трусы плачутъ и дрожатъ  
Ничтожною душой,  
А нашъ удѣлъ — борись, будь смѣль,  
И въ смерти — будь герой!

---

## ФИЛОСОФІЯ ТВОРЧЕСТВА.

Чарльзъ Диккенсъ, въ письмѣ, лежащемъ сейчасъ передо мной, намекая на сдѣланный мною когда-то разборъ механизма, по которому написанъ „Барнеби Рѣджъ“, говорить: „Между прочимъ, знаете ли вы, что Годвинъ написалъ своего „Калеба Уильемса“ съ конца? Сперва онъ запуталъ своего героя въ сѣть затрудненій, образующую второй томъ, а потомъ, для перваго тома, окружилъ его извѣстнаго рода изъясненіемъ того, что было сдѣлано“.

Я не думаю, чтобы Годвинъ *въ точности* поступилъ именно такимъ образомъ, — и дѣйствительно, то, что говорить онъ самъ, не вполне согласуется съ мыслью Мистера Диккенса — но авторъ „Калеба Уильемса“ былъ слишкомъ хорошимъ художникомъ, чтобы не замѣтить преимущества, которое можно извлечь изъ процесса, по крайней мѣрѣ нѣсколько схожаго съ этимъ. Ничто такъ не очевидно, какъ то, что каждый замыселъ, достойный этого имени, долженъ быть выработанъ вплоть до своей *развязки*, прежде чѣмъ дѣлать какую-нибудь попытку съ перомъ въ рукѣ. Лишь постоянно имѣя въ памяти *развязку*, мы можемъ придать замыслу необходимый видъ послѣдовательности, причинности, заставивъ событія, и въ особености весь общій тонъ, тяготѣть къ развитію замышленнаго.

Какъ я думаю, есть коренная ошибка въ обычномъ

способъ построенья повѣствованія. Или рассказъ основанъ на тезисѣ — или таковой внушенъ какимъ-нибудь событіемъ дня — или, въ лучшемъ случаѣ, авторъ принимается самъ выработывать сочетаніе поразительныхъ событій, чтобы создать только основу своего повѣствованія — намѣреваясь, вообще, заполнять описаніями, діалогами, или авторскими поясненіями, всякаго рода пробѣлы въ фактахъ или въ дѣйствіи, которые могутъ сдѣлаться явными между страницей и страницей.

Я предпочитаю начинать съ разсмотрѣнія извѣстнаго *эффекта*. *Всегда* имѣя въ виду оригинальность — ибо тотъ невѣренъ самому себѣ, кто дерзаетъ опустить столь очевидный и столь легко достижимый источникъ интереса — я, прежде всего, говорю себѣ: — „Изъ безчисленныхъ эффектовъ или впечатлѣній, которыя способны воспринять сердце, разумъ, или (говоря болѣе обще) душа, какой эффектъ я долженъ выбрать въ данномъ случаѣ?“ Выбравъ сперва новый, и потомъ, яркій эффектъ, я разсматриваю, можетъ ли онъ лучше всего быть созданъ извѣстнымъ приключеніемъ или тономъ — обыкновенными ли приключеніями и особеннымъ тономъ, или наоборотъ, или обоюдной особенностью приключенія и тона — затѣмъ смотрю вокругъ себя (или вѣрнѣе внутрь), стараясь найти такія сочетанія событій и тона, которыя наилучше помогли бы мнѣ создать искомый эффектъ.

Я часто думалъ, какую интересную журнальную статью могъ бы написать любой авторъ, если бы онъ захотѣлъ — точнѣе, если бы онъ могъ — подробно, шагъ за шагомъ, отмѣтить процессъ, путемъ котораго каждое изъ его произведеній достигло предѣльной точки. Почему такого писанія никогда не было дано міру, я весьма затрудняюсь сказать, — но, быть-можетъ, причина ни въ чемъ такъ не кроется, какъ въ авторскомъ тщеславіи. По большей части, писатели — въ особенности поэты — предпочитаютъ, чтобы думали, что они сочиняютъ въ извѣстнаго рода утонченномъ безуміи — въ

состояніи экстатической интуиціи — и они положительно затрепетали бы при мысли о разрѣшеніи публикѣ заглянуть за сцену, взглянуть на вырабатываемыя и колеблющіяся несовершенства мысли — на истинныя задачи, ухваченныя лишь въ послѣдній моментъ — на безчисленные проблески мысли, еще не достигшей до зрѣлости полной перспективы — на совершенно созрѣвшія фантазіи, отброшенныя въ отчаяніи, какъ невыполнимыя — на осторожныя выиранія и отбрасыванья — на мучительныя вычерки и вставки — словомъ, на всѣ эти колеса и шестерни — на подъемную машину, чьи блоки создаютъ перемѣну сцены — на лѣстницы со ступеньками, и на дьявольскіе трапы — на пѣтушья перья, красную размалевку, и бѣлыя наклейки, которыя, въ девяносто девяти случаяхъ изъ ста, составляютъ отличительныя свойства литературнаго *гистріона*.

Я знаю, съ другой стороны, что это отнюдь не общее правило, чтобы авторъ вообще былъ въ состояніи пройти обратный путь, который привелъ его къ его заключеніямъ. Въ общемъ, внушенія, возникши въ беспорядкѣ, осуществляются и забываются аналогичнымъ образомъ.

Что касается меня, я никогда не относился съ сочувствіемъ къ указанному отвращенію, а также никогда не испытывалъ ни малѣйшаго затрудненія при воссозданіи въ памяти послѣдовательнаго развитія какого-либо изъ моихъ произведеній; и, если интересъ анализа, или воссозданія, въ томъ смыслѣ, какъ я счелъ его желательнымъ, совершенно независимъ отъ дѣйствительнаго или воображаемаго интереса разсматриваемой вещи, съ моей стороны не будетъ нарушеніемъ приличія показать *modus operandi*, съ помощью котораго я собралъ въ одно цѣлое какое-либо изъ моихъ произведеній. Я выбираю „Ворона“, какъ вещь наиболѣе общеизвѣстную. Мое намѣреніе — сдѣлать очевиднымъ, что ни одинъ пунктъ въ этомъ замыслѣ не является результатомъ случая или интуиціи — что произведеніе создавалось шагъ за шагомъ, достигая своей закончен-

ности съ точностью и строгой послѣдовательностью математической проблемы.

Обойдемъ молчаніемъ, какъ не относящееся къ поэмѣ, *per se*, то обстоятельство — или вѣрнѣе ту неизбѣжность — которая прежде всего возбудила намѣреніе написать *какую-нибудь* поэму, которая отвѣчала бы одновременно общедоступному и критическому вкусу.

Итакъ, начнемъ съ замысла.

Начальнымъ соображеніемъ была мысль объ объемѣ. Если какое-нибудь литературное произведеніе слишкомъ длинно, чтобы быть прочитаннымъ за одинъ присѣсть, мы волей-неволей должны отказаться отъ чрезвычайно важнаго эффекта, доставляемаго единствомъ впечатлѣнія — ибо, если требуется чтеніе въ два присѣста, во впечатлѣніе вмѣшиваются мірскія дѣла, и что-либо подобное цѣльности сразу разрушено. Но разъ, *ceteris paribus*, никакой поэтъ не можетъ опускать *чего бы то ни было*, что можетъ подвинуть впередъ осуществленіе его замысла, остается только разсмотрѣть, можетъ ли тутъ быть, въ цѣломъ, какая-нибудь выгода, уравновѣшивающая потерю единства. Здѣсь я немедленно говорю — нѣтъ. То, что мы называемъ длинной поэмой, на самомъ дѣлѣ есть ничто иное, какъ цѣлый рядъ короткихъ поэмъ — то-есть краткихъ поэтическихъ эффектовъ. Врядъ ли нужно доказывать, что извѣстная поэма является таковой лишь постольку, поскольку напряженно она возбуждаетъ, возвышая душу; всѣ же напряженныя возбужденія, въ силу психологической неизбѣжности, кратки. По этой причинѣ, по крайней мѣрѣ въ своей половинѣ, „Потерянный Рай“ является чистой прозой — рядъ поэтическихъ возбужденій перемѣшанъ, *неизбѣжно*, съ соотвѣтствующими пониженіями — все въ цѣломъ лишено, благодаря чрезвычайной длиннотѣ, необыкновенно важнаго художественнаго элемента, цѣльности, или единства впечатлѣнія.

Такимъ образомъ, устанавливается, повидимому, оче-



видный фактъ, что для всѣхъ произведеній литературнаго искусства есть, въ отношеніи длинноты, опредѣленная граница — предѣлъ одного присѣста — и что, хотя въ прозаическихъ произведеніяхъ извѣстнаго разряда, какъ, напри- мѣръ, въ „Робинзонъ Крузо“ (не требующемъ единства) эта граница можетъ быть съ успѣхомъ прейдена, никогда нельзя въ точномъ смыслѣ пройти ее въ какой-либо поэмѣ. Въ предѣлахъ этой границы, размѣръ поэмы можетъ находиться въ математическомъ отношеніи къ ея достоин- ствамъ, — другими словами, къ степени истиннаго поэтиче- скаго эффекта, котораго она способна достигъ; ибо совер- шенно ясно, что краткость должна быть въ прямомъ отно- шеніи къ напряженности замышленного эффекта — съ од- нимъ, конечно, условіемъ, что извѣстная степень длитель- ности безусловно необходима, для того чтобы создать какой бы то ни было эффектъ.

Имѣя въ виду эти соображенія, такъ же какъ степень возбужденія, которую я счелъ не выше общедоступнаго, но и не ниже критическаго вкуса, я достигъ сразу того, что я представилъ себѣ какъ необходимую *длину* моей замышленной поэмы — длину приблизительно въ сто строкъ. Въ ней, на самомъ дѣлѣ, сто восемь строкъ.

Слѣдующей моей мыслью было соображеніе относительно выбора впечатлѣнія, или эффекта, который должно создать: и здѣсь я могу сдѣлать умѣстное указаніе, что при выпол- неніи своего замысла я непремѣнно хотѣлъ, чтобы про- изведение могло найти *всеобщее* признаніе. Я удалился бы слишкомъ далеко отъ непосредственнаго моего предмета, если бы сталъ доказывать пунктъ, на которомъ я неодно- кратно настаивалъ, и который, для людей поэтически-чув- ствующихъ, отнюдь не нуждается ни въ какихъ доказа- тельствахъ, — я разумѣю утвержденіе, что Красота есть единственная законная область поэмы. Скажу, однако, нѣ- сколько словъ для разъясненія, что я подъ этимъ подра- зумѣваю, ибо нѣкоторые изъ моихъ друзей выказали на-

клонность къ ложному толкованію. Наслажденіе, которое одновременно и самое напряженное, и самое возвышенное, и самое чистое, можно найти, какъ я думаю, въ созерцаніи прекраснаго. Когда, на самомъ дѣлѣ, люди говорятъ о Красотѣ, они, въ точности, разумѣютъ не качество, какъ это предполагается, а эффектъ — они, вкратцѣ, намекаютъ именно на это напряженное и чистое возвышеніе *души* — не ума, или сердца — на что я указывалъ — и оно испытывается вслѣдствіе созерцанія „красиваго“. Теперь, я обозначаю Красоту законной областью поэмы, главнымъ образомъ, потому, что, какъ гласитъ явное правило Искусства, нужно дѣлать такъ, чтобы эффекты возникали изъ прямыхъ причинъ — чтобы объекты достигались съ помощью средствъ, наиболѣе приспособленныхъ для ихъ достиженія, и никто еще не былъ настолько слабъ, чтобы отрицать, что особое возвышенное возбужденіе, на которое указывалось, наиболѣе *вѣрнымъ* способомъ достигается въ поэмѣ. Далѣе, объектъ Истина, или удовлетвореніе разума, и объектъ Страсть, или возбужденіе сердца, хотя достижимы до извѣстной степени въ поэзіи, ихъ гораздо легче достигать въ прозѣ. Истина, на самомъ дѣлѣ, требуетъ точности, а Страсть *крайней простоты* (истинно-страстные поймутъ меня), а они находятся въ безусловно враждебномъ соотношеніи съ тою Красотой, которая, какъ я утверждаю, состоитъ въ возбужденіи, или пріятномъ возвышеніи, души. Изъ всего вышесказаннаго отнюдь не слѣдуетъ, чтобы страсть, или даже истина, не могли быть вводимы, и даже съ выгодною вводимы, въ поэму — ибо они могутъ служить для изъясненія, или содѣйствовать общему впечатлѣнію, какъ это дѣлаютъ диссонансы, въ музыкѣ, въ силу контраста — но истинный художникъ всегда сумѣетъ, во-первыхъ, привести ихъ въ надлежащее служебное соотношеніе съ главной цѣлью, и, во-вторыхъ, окутать ихъ, какъ только возможно, тою Красотой, которая составляетъ атмосферу и сущность поэмы.

Разсматривая, такимъ образомъ, Красоту, какъ надлежашую мою область, я нашель, что слѣдующій мой вопросъ относился къ тону, настроенію въ высшемъ проявленіи Красоты— и весь опытъ показывалъ, что такое настроеніе есть тонъ печали. Красота какого бы то ни было рода, въ высшемъ ея развитіи, неизмѣнно возбуждаетъ впечатлительную душу до слезъ. Печаль является, такимъ образомъ, наиболѣе законнымъ изъ всѣхъ поэтическихъ настроеній.

Послѣ того какъ область и настроеніе были такимъ образомъ выяснены, я обратился къ обычной прелюдіи. имѣя въ виду получить какую-нибудь художественную приправу, которая могла бы служить мнѣ основной нотой при построеніи поэмы — найти какой-нибудь стержень, на которомъ могла бы вращаться вся машина. Тщательно размышляя обо всѣхъ обычныхъ художественныхъ эффектахъ, — или, вѣрнѣе, *мѣткихъ приѣмахъ*, въ театральномъ смыслѣ — я не преминулъ немедленно увидать, что никакой приѣмъ не имѣлъ такого всеобщаго примѣненія, какъ *припѣвъ*. Всеобщность примѣненія въ достаточной мѣрѣ убѣждала меня въ выгодной его цѣнности, и избавляла меня отъ необходимости подвергнуть его анализу. Я разсмотрѣлъ его, однако, въ отношеніи его способности къ усовершенствованію, и вскорѣ увидалъ, что онъ находится въ первобытномъ состояніи. *Припѣвъ*, какъ онъ обыкновенно употребляется, не только ограничивается лирическимъ стихомъ, но и зависитъ въ смыслѣ впечатлѣнія отъ силы монотонности — какъ въ звукѣ, такъ и въ мысли. Удовольствіе выводится единственно лишь изъ чувства тождества — повторенія. Я рѣшилъ внести разнообразіе въ эффектъ, и такимъ образомъ повесить его, держась въ общемъ монотонности звука, между тѣмъ какъ я постоянно варьировалъ монотонность мысли; то-есть я рѣшилъ производить непрерывно новые эффекты, видоизмѣняя *примѣненіе припѣва* — причемъ самъ припѣвъ, въ большей части, остается неизмѣннымъ.

Установивъ эти пункты, я подумалъ затѣмъ о томъ, какого *свойства* долженъ быть мой припѣвъ. Разъ примененіе его должно повторно видоизмѣняться, ясно было, что самъ припѣвъ долженъ быть краткимъ, ибо при частыхъ видоизмѣненіяхъ применія какой-либо длинной мысли возникли бы непреоборимыя затрудненія. Легкость варіаціи находилась бы, конечно, въ прямомъ отношеніи къ краткости мысли. Это сразу привело меня къ одному слову, какъ къ наилучшему припѣву.

Тутъ возникъ вопросъ относительно *характера* этого слова. Разъ я надумалъ прибѣгнуть къ припѣву, раздѣленіе поэмы на строфы было логическимъ слѣдствіемъ, припѣвъ долженъ былъ составлять заключеніе каждой строфы. Не было сомнѣнія, что это заключеніе должно было быть звучнымъ и имѣющимъ длительную выразительность, чтобы имѣть силу, и эти соображенія неизбѣжно привели меня къ долготу *o*, какъ наиболѣе звучной гласной, въ соединеніи съ *p*, какъ наиболѣе выразительной согласной.

Разъ звукъ припѣва былъ рѣшенъ, нужно было выбрать слово, воплощающее его, и въ то же время съ наибольшей полнотой гармонирующее съ предрѣшеннымъ настроеніемъ поэмы. Въ такомъ изысканіи было абсолютно невозможно проглядѣть слово „Nevermore“. На самомъ дѣлѣ, оно первымъ представилось мнѣ.

Слѣдующимъ *desideratum*’омъ было соображеніе о поводѣ для непрерывнаго повторенія одного слова „никогда“. Разсматривая затрудненіе, на которое я тотчасъ же натолкнулся, при измышленіи достаточно пріемлемаго основанія для непрерывнаго его повторенія, я не преминулъ увидать, что это затрудненіе возникало лишь изъ допущенія, что данное слово такъ непрерывно, или монотонно, говорится *человѣческимъ* существомъ — я не преминулъ увидать, коротко говоря, что затрудненіе кроется въ примиреніи этой монотонности и пользованія разсудкомъ со стороны существа, повторяющаго данное слово. Такимъ образомъ не-

медленно возникла мысль о не-разумномъ существѣ, способномъ къ рѣчи, и вполне естественнымъ образомъ на первомъ мѣстѣ появился попугай, но онъ тотчасъ же уступилъ мѣсто Воронѣ, какъ одаренному также способностью рѣчи и безконечно болѣе находящемуся въ соответствіи съ задуманнымъ настроеніемъ.

Я дошелъ до представленія о Воронѣ, какъ птицѣ зловѣщей, монотонно повторяющей одно слово „Никогда“ въ концѣ каждой строфы нѣкоторой поэмы, проникнутой меланхолическимъ настроеніемъ, и по размѣрамъ насчитывающей приблизительно сто строкъ. Теперь, не теряя ни на минуту изъ виду предметъ — *возвышенность* или *завершенность* во всѣхъ отношеніяхъ — я спросилъ себя — „Изъ всего, что печально, — что *наиболѣе* печально, согласно со *всеобщимъ* пониманіемъ человѣчества?“ Смерть, гласилъ явный отвѣтъ. „И когда“, подумалъ я, „эта *наиболѣе* печальная область *наиболѣе* поэтична?“ Изъ того, что я уже достаточно подробно разъяснилъ, отвѣтъ также явствуетъ: „Когда она *наиболѣе* тѣсно сочетается съ *Красотой*: итакъ, смерть красивой женщины, несомнѣнно, есть самый поэтический замыселъ, какой только существуетъ въ мірѣ, и равнымъ образомъ несомнѣнно, что уста, *наиболѣе* пригодныя для такого сюжета, суть уста любящаго, который лишился своего счастья.“

Я долженъ былъ теперь сочетать два представленія — любящаго, скорбящаго о своей умершей возлюбленной, и Ворона, безпрерывно повторяющаго слово „Никогда“\*). Я долженъ былъ сочетать ихъ, памятуя мое намѣреніе видоизмѣнять каждый разъ *примѣненіе* повторяемаго слова, но единственнымъ средствомъ получить такое сочетаніе было представить Ворона, говорящимъ это слово въ отвѣтъ на во-

\*) Крикъ Ворона „Nevermore“ въ точности означаетъ „Больше никогда“. Я передалъ его словомъ „Никогда“, во-первыхъ, чтобы не мѣнять размѣра подлинника, во-вторыхъ, потому, что въ данномъ случаѣ одно слово сильнѣе, чѣмъ два. К. Б.

просы любящаго. Тутъ я увидалъ выгоду, доставляемую эффектомъ, на который я рассчитывалъ, я говорю объ эффектѣ *вараціи въ примѣненіи*. Я увидалъ, что могу сдѣлать первый вопросъ, предложенный любящимъ — первый вопросъ, на который Воронъ долженъ отвѣтить „Никогда“ — какимъ-нибудь общимъ мѣстомъ, второй менѣе общимъ мѣстомъ, третій еще менѣе, и такъ далѣе, пока, наконецъ, любящій, пробужденный отъ своей первоначальной *небрежности*, печальнымъ характеромъ самаго слова, въ силу частаго его повторенія, а также въ силу соображенія о зловѣщемъ характерѣ птицы, которая его произноситъ, не будетъ возбужденъ, наконецъ, до суетвѣрнаго настроенія, и не предлагаетъ цѣлаго ряда вопросовъ совершенно другого характера — вопросовъ, разрѣшеніе которыхъ лежитъ у него на сердцѣ — предлагаетъ ихъ частію суетвѣрно, частію въ извѣстнаго рода отчаяніи, которое усаждается самоистязаніемъ — предлагаетъ ихъ не потому, что вѣритъ въ пророческій или демоническій характеръ птицы (ибо разумъ увѣряетъ его, что она лишь повторяетъ заученный урокъ), но потому, что онъ испытываетъ изступленное наслажденіе — придавая такой характеръ своимъ вопросамъ, что онъ долженъ получать отъ *ожидаемаго* „Никогда“ самую уладительную, ибо самую нестерпимую, печаль. Понявъ возможность, такимъ образомъ доставляемую мнѣ, или, точнѣе говоря, такимъ образомъ прямо навязанную мнѣ самымъ теченіемъ построенія, я прежде всего установилъ въ своемъ умѣ высшую точку — тотъ вопросъ, на который „Никогда“ должно быть послѣднимъ отвѣтомъ — тотъ вопросъ, въ отвѣтъ на который это слово „Никогда“ должно было бы внушить крайнюю мыслимую степень печали и отчаянія.

Итакъ, здѣсь, можно сказать, началась моя поэма, въ концѣ, гдѣ должны были бы начинаться всѣ произведенія искусства, ибо здѣсь, въ этомъ пунктѣ моихъ предварительныхъ соображеній, я впервые взялся за перо и написалъ слѣдующую строфу:

„Ты пророкъ!“ вскричалъ я, „вѣщій! Птица ты или духъ зловѣщій, Этимъ Небомъ, что надъ нами — Богомъ, скрытымъ навсегда, Заклинаю, умоляя мнѣ сказать: въ предѣлахъ Рая Мнѣ откроется ль святая, что среди ангеловъ всегда, Та, которую Ленорой въ Небесахъ зовутъ всегда?“

Каркнулъ Воронъ: „Никогда.“

Я написалъ эту строфу, въ данномъ пунктѣ, во-первыхъ, для того, чтобы, установивъ высшую точку, я могъ наилучшимъ образомъ варьировать и распредѣлять по степенямъ, въ отношеніи серьезности и важности, предшествующіе вопросы любящаго, и во-вторыхъ, чтобы я могъ окончательно установить ритмъ, размѣръ, длительность, и общій распорядокъ строфы, такъ же какъ распредѣлить по степенямъ строфы, которыя должны были быть предшествующими, такъ чтобъ ни одна изъ нихъ не могла превышать ее въ ритмическомъ эффектѣ. Если бы при послѣдовавшей затѣмъ сочинительской работѣ я былъ способенъ построить болѣе сильныя строфы, я безъ колебаній нарочно бы ихъ ослабилъ, чтобы они не встали помѣхой высшему эффекту.

Здѣсь будетъ уместно сказать нѣсколько словъ о самомъ стихосложеніи. Моей главной задачей (по обыкновенію) была оригинальность. Та степень, въ которой это соображеніе подвергается небреженію при писаніи стиховъ, является одной изъ самыхъ необъяснимыхъ въ мірѣ вещей. Если допустить, что въ самомъ *ритмѣ* кроется очень мало возможностей разнообразія, все же остается яснымъ, что возможныя разнообразія размѣра и строфы абсолютно безконечны, и однако же, *въ теченіи цѣлыхъ столѣтій, ни одинъ человекъ, въ стихахъ, не сдѣлалъ, или никогда, повидимому, не думалъ сдѣлать, что-нибудь оригинальное.* Фактъ заключается въ томъ, что оригинальность отнюдь не является, какъ это полагаютъ нѣкоторые, дѣломъ простаго побужденія или интуиціи (мы должны исключить лишь умы совершенно необыкновенной силы). Вообще,

чтобы быть найденной, она должна быть тщательно отыскиваема, и хотя она представляет изъ себя положительное достоинство высшаго порядка, она требуетъ для своего достиженія не столько изобрѣтенія, сколько отрицанія.

\* Я, разумѣется, не притязаю на оригинальность ни въ ритмѣ, ни въ размѣрѣ „Ворона“. Первый представляетъ изъ себя трохей, второй является полной восьмистопной строкой, которая смѣняется семистопной строкой, повторяемой въ припѣвѣ пятаго стиха, и заключается неполной четырехстопной строкой. Менѣе педантично—стопы, употребляемыя въ поэмѣ (трохеи), состоятъ изъ одного долгаго слога, за которымъ слѣдуетъ короткій; первая строка строфы состоитъ изъ восьми стопъ, вторая изъ семи съ половиной (въ дѣйствительности двѣ трети), третья изъ восьми, четвертая изъ семи съ половиной, пятая то же самое, шестая изъ трехъ съ половиной. Каждая изъ этихъ строкъ, взятая въ ея индивидуальности, употреблялась раньше, и въ чемъ состоитъ оригинальность „Ворона“, это въ томъ, что данныя строки *сочетаются въ строфу*, хотя бы отдаленное приближеніе къ которой никогда не предпринималось. Впечатленіе отъ этой оригинальности сочетанія усиливается другими и какъ бы совершенно новыми эффектами, возникающими изъ пространности примѣненія основъ рими и аллитераціи.

Слѣдующимъ пунктомъ соображенія былъ способъ сопоставленія любящаго и Ворона — и первымъ развѣтвленіемъ этого была мысль о *мѣстѣ*. Самымъ естественнымъ внушеніемъ могла бы здѣсь казаться мысль о *лѣсѣ*, или о поляхъ,—но мнѣ всегда казалось, что тѣсная *замкнутость пространства* безусловно необходима для эффекта обособленнаго событія—это имѣетъ силу рамы къ картинѣ. Разъ вы держите вниманіе сосредоточеннымъ, въ этомъ есть несомнѣнная моральная сила, и, само собой разумѣется, этого не нужно смѣшивать съ простымъ единствомъ мѣста.

Я рѣшилъ поэтому помѣстить любящаго въ его ком-



натѣ — въ комнатѣ сдѣлавшейся для него священной, благодаря воспоминаніямъ о той, которая ее посѣщала. Комната изображена снабженною богатой обстановкой — ради осуществления, уже изложенныхъ мною, мыслей о Красотѣ, какъ единственно - истинной области поэтического творчества.

Послѣ того какъ *мѣсто* было опредѣлено, я долженъ былъ ввести птицу — и мысль о введеніи ея черезъ окно была неизбѣжной. Мысль заставить любящаго предположить, что хлопанье крыльевъ птицы о ставню есть стукъ въ дверь, возникла изъ желанія увеличить, длительностью, любопытство читателя, и изъ желанія допустить случайный эффектъ, который получается въ силу того, что любящій распахиваетъ дверь, видитъ лишь тьму, и отсюда возникаетъ полугреза о томъ, что это былъ духъ его возлюбленной, который поступался.

Я сдѣлалъ ночь ненастной, во-первыхъ, для того, чтобы объяснить, почему Воронъ ищетъ пріюта, во-вторыхъ, чтобы создать эффектъ контраста между этой ночью и (физической) ясностью, царящей въ комнатѣ.

Я заставилъ птицу сѣсть на бюстъ Паллады также для эффекта противопоставленія между мраморомъ и цвѣтомъ ея перьевъ — да будетъ понято, что бюстъ былъ всецѣло *внушенъ* птицей. Бюстъ *Паллады* былъ выбранъ потому, во-первыхъ, что онъ находится въ наибольшей гармоніи съ тѣмъ, что любящій посвятилъ себя умственнымъ занятіямъ, и потому, во вторыхъ, что слово Паллада само по себѣ звучно.

Приблизительно въ серединѣ поэмы я воспользовался также эффектомъ контраста, чтобы углубить окончательное впечатлѣніе. Появленію Ворона приданъ фантастическій характеръ — приближающійся настолько къ смѣшному, какъ только это было возможно. Онъ входитъ, „махая крыльями“.

*Не склонился онъ учтиво, но, какъ лордъ, вошелъ стѣсниво,  
И, взмахнувъ крыломъ лѣнливо, въ пышной важности своей,  
Онъ взлетѣлъ...*

Въ двухъ строфахъ, за этимъ слѣдующихъ, намѣреніе выполнено еще болѣе явно:

Отъ печали я очнулся, и невольно усмѣхнулся.

Видя важность этой птицы, жившей долгие года.

„Твой хохолъ оштанъ славно, и глядишь ты презабавно,

Я промолвилъ, „но скажи мнѣ: въ царствѣ тьмы, гдѣ Ночь всегда,

„Какъ ты звался, гордый Воропъ, тамъ, гдѣ Ночь царить всегда?“

Воронъ крикнулъ: „Никогда“.

*Птица ясно отвѣчала, и, хоть смысла было мало,*

Подвигая я всѣмъ сердцемъ на отвѣтъ ея тогда.

Да и кто не подивится, кто съ такой мечтой сроднится,

*Кто повѣрить согласится, чтобы гдѣ - нибудь когда*

*Стѣль надъ дверью говорящій безъ запинки, безъ труда,*

Воронъ съ кличкой „Никогда“.

Послѣ того какъ эффектъ *развязки* былъ такимъ образомъ обезпеченъ, я немедленно опустил причудливый элементъ — и установилъ настроеніе самой глубокой серьезности, — настроеніе, начинающееся въ слѣдующей же строфѣ, строкою:

И взирая такъ сурово, лишь одно твердилъ онъ слово, и т. д.

Съ этого мига любящій болѣе не шутить — не усматриваетъ болѣе ничего даже причудливаго въ томъ, какой видъ имѣетъ Воронъ. Онъ говоритъ о немъ, какъ о „злой, тяжелой, страшной, худой, и зловѣщей птицѣ старыхъ дней“, и чувствуетъ, что „огненные взоры“ жгутъ ему „сердце“. Эта рѣзкая переменна въ думѣ, или мечтѣ, любящаго введена для того, чтобы вызвать подобную же переменну въ читателѣ — привести умъ въ состояніе, подходящее для развязки — которая должна теперь быть осуществлена такъ быстро и такъ *непосредственно*, какъ только это возможно.

Развязкой въ точномъ смыслѣ, — отвѣтомъ Ворона, „Никогда“, на послѣдній вопросъ любящаго, встрѣтитъ ли онъ свою возлюбленную въ другомъ мірѣ, — поэма, въ яв-

ной своей фазѣ, въ фазѣ простого повѣствованія, доводится, строго говоря, до своего завершения. До этихъ поръ, все происходитъ въ предѣлахъ объяснимаго—реального. Воронъ, заучившій въ силу простого повторенія отдѣльное слово „Никогда“, и ускользнувшій отъ надзора своего хозяина, пригнанъ въ полночь, сильнымъ порывомъ буря, къ окну, откуда струится свѣтъ, и гдѣ онъ хочетъ искать пріюта — къ окну чтеца, наполовину склонившагося надъ какимъ-то томомъ, наполовину грезящаго въ полуснѣ объ умершей возлюбленной. Окно раскрыто передъ птицей, взмахивающей крыльями, птица помѣщается на мѣстѣ наиболѣе для нея подходящемъ, за предѣлами непосредственнаго прикосновенія со стороны чтеца, который, развеселившись благодаря этому случаю, и благодаря причудливости во вѣншемъ видѣ гости, спрашиваетъ у птицы ея имя, въ шутку и не ожидая отвѣта. Воронъ, когда къ нему обратились, отвѣчаетъ своимъ обычнымъ словомъ „Никогда“ — словомъ, находящимъ немедленный откликъ въ меланхолическомъ сердцѣ чтеца, который, выразивши вѣлухъ извѣстныхъ мыслей, внутренняя даннымъ обстоятельствомъ, снова изумляется на то, что птица повторяетъ слово „Никогда“. Чтець догадывается теперь, въ чемъ дѣло, но, какъ я объяснилъ, человѣческая жажда самоистязанія, а частію и суетвѣріе, побуждаютъ его предлагать птицѣ такіе вопросы, которые доставятъ ему, любящему, наибольшую роскошь печали, предвкушеннымъ отвѣгомъ „Никогда“. Въ силу крайняго самоуслажденія этой пыткой, повѣствованіе, въ первой своей—какъ я назвалъ—въ явной своей фазѣ, достигло своего естественнаго завершения, и до сихъ поръ предѣлы реального не нарушались.

Но при такой разработкѣ сюжета, хотя бы искусной, и хотя бы событіе было разукрашено очень ярко, всегда есть извѣстная жесткость, обнаженность, отталкивающая художественный глазъ. Требуются неизмѣнно двѣ вещи: во-первыхъ, извѣстная степень сложности, или, точнѣе го-

воря, согласованія; во-вторыхъ, извѣстная степень внушаемости — нѣкоторое, хотя бы неопредѣленное, подводное теченіе въ смыслѣ. Именно это послѣднее особеннымъ образомъ придаетъ произведенію искусства такъ много того *богатства* (беру изъ повседневной рѣчи вынужденный терминъ), которое мы слишкомъ охотно смѣшиваемъ съ чувствомъ *идеальнаго*. Именно *излишество* внушаемаго смысла — превращеніе подводнаго теченія замысла въ надводное — превращаетъ такъ-называемую поэзію такъ называемыхъ трансценденталистовъ въ прозу (и въ самую плоскую прозу).

Держась такихъ мнѣній, я присоединилъ двѣ заключительныя строфы поэмы — чтобы внушаемостью ихъ наложить отпечатокъ на все предъидущее повѣствованіе. Подводное теченіе смысла сперва дѣлается явнымъ въ строкахъ —

„Вынь свой жесткій клювъ изъ *сердца моего*, гдѣ скорбь всегда!“  
Каркнулъ Воронъ: „Никогда“.

Обращаю вниманіе на то, что слова „изъ сердца моего“ представляютъ изъ себя первое метафорическое выраженіе въ поэмѣ. вмѣстѣ съ отвѣтомъ „Никогда“, они побуждаютъ умъ искать извѣстной морали во всемъ, что до того рассказывалось. Читатель начинаетъ теперь видѣть въ Воронѣ нѣчто эмблематическое — но только самая послѣдняя строка самой послѣдней строфы позволяетъ ясно видѣть, что замыселъ изображаетъ его какъ эмблему *Мрачнаго и никогда не прекращающагося Воспоминанія*:

И сидитъ, сидитъ зловѣщій, Воронъ черный, Воронъ вѣщій,  
Съ бюста блѣднаго Паллады не умчится никуда,  
Онъ глядитъ, уединенный, точно демонъ полусонный,  
Свѣтъ струится, тѣнь ложится, на полу дрожить всегда,  
И душа моя *изъ тѣни*, что волнуется всегда,  
Не возстанетъ — никогда.

## ФИЛОСОФІЯ ОБСТАНОВКИ.

Въ области внутренняго убранства, если не внѣшней архитектуры своихъ жилищъ, Англичане главенствуютъ. У Итальянцевъ мало чутья внѣ мрамора и красокъ. Во Франціи — *meliora probant, deteriora sequuntur* <sup>1)</sup>—Французы слишкомъ большіе непосѣды, чтобы заботиться о тѣхъ самыхъ особенностяхъ домашней обстановки, которыя они однако умѣютъ такъ тонко оцѣнивать, или по крайней мѣрѣ надлежащимъ образомъ чувствовать. Китайцы, и большая часть восточныхъ расъ, обладаютъ пылкой, но ненадлежащей фантазіей. Шотландцы — *бѣдные* декораторы. Голландцы, быть-можетъ, лишь смутно понимаютъ, что занавѣсъ не есть нѣчто капустное <sup>2)</sup>. Испанцы прямо не выходятъ изъ занавѣсей — народъ висѣльниковъ <sup>3)</sup>. Русскіе совсѣмъ не имѣютъ никакой обстановки. Готтентоты и Кика-пу устраиваются по-своему надлежащимъ образомъ. Лишь Янки — совершенно нелѣпы.

---

<sup>1)</sup> Одобряютъ лучшее, слѣдуютъ худшему.

<sup>2)</sup> Непереводимая игра словъ: а cabbage значить — капуста, и обрѣзки матеріи, оставляемые портными. *К. Б.*

<sup>3)</sup> Опять игра словъ: hang значить вѣшать, и оклеивать или обивать комнату; hangman — палачъ. *К. Б.*

Почему это такъ, не трудно видѣть. У насъ имѣть кровной аристократіи, и мы потому, естественно, и какъ бы неизбѣжнымъ образомъ, образовали для себя извѣстную аристократію долларовъ; такимъ образомъ, *выставленіе богатства напоказъ* исполняетъ здѣсь ту же роль, какая въ странахъ монархическихъ выполняется щегольствомъ геральдическимъ. Путемъ перехода, который легко уразумѣть, и столь же легко можно было бы предвидѣть, мы свели все понятія о вкусѣ къ простой *выставкѣ*.

Скажемъ менѣе отвлеченно. Въ Англіи простымъ нагроможденіемъ цѣнныхъ принадлежностей нельзя такъ легко, какъ у насъ, создать впечатлѣніе красоты по отношенію къ этимъ принадлежностямъ — или по отношенію къ вкусу ихъ обладателя: во-первыхъ потому, что богатство въ Англіи, не составляя знатности, не является высшей задачей честолюбія; и, во-вторыхъ, потому, что истинная знатность крови, строго держась въ границахъ законнаго вкуса, скорѣе избѣгаетъ, чѣмъ желаетъ, той дорого стоящей пышности, въ области которой *rivalry* могутъ, въ какое бы то ни было время, успѣшно соперничать. Народъ *не можетъ* не подражать аристократіи, и въ результатѣ получается широкое распространеніе надлежащаго вкуса. Но въ Америкѣ, гдѣ деньги являются единственнымъ оружіемъ знати, выставленіе ихъ напоказъ, можно сказать, является вообще единственнымъ средствомъ аристократическаго отличія; и масса, всегда ищущая образцовъ гдѣ-нибудь надъ собой, незамѣтнымъ образомъ начинаетъ смѣшивать двѣ совершенно различныя вещи, роскошь и красоту. Словомъ, стоимость какого-нибудь предмета обстановки сдѣлалась у насъ, въ концѣ концовъ, почти единственнымъ мѣриломъ ея достоинства съ точки зрѣнія декоративной — и, будучи однажды установлено, такое мѣрило проложило дорогу для другихъ подобныхъ заблужденій, которыя легко прослѣдить до исходной точки заблужденій первичныхъ.

Ничего не можетъ быть болѣе оскорбительнаго для

художническаго глаза, чѣмъ то, что называется въ Соединенныхъ Штатахъ хорошей обстановкой. Самый распространенный ея недостатокъ — отсутствіе соразмѣрности. Мы говоримъ о соразмѣрности въ комнатѣ, какъ стали бы говорить о соразмѣрности въ картинѣ — ибо и картина и комната подчиняются тѣмъ неизмѣннымъ принципамъ, которые управляютъ всѣмъ разнообразіемъ искусства; и можно сказать, что тѣ самые законы, на основаніи которыхъ мы судимъ о высшихъ проявленіяхъ искусства живописи, даютъ намъ полную возможность составить сужденіе объ обстановкѣ комнаты.

Отсутствіе соразмѣрности замѣчается иногда въ характерѣ отдѣльныхъ предметовъ обстановки, вообще же въ ихъ окраскѣ, или способѣ ихъ примѣненія. *Очень* часто глазъ оскорбляется ихъ нехудожественнымъ распредѣленіемъ. Прямые линіи слишкомъ господствуютъ — продолжаютъ слишкомъ непрерывно — или грубо прерываются на прямыхъ углахъ. Если встрѣчаются изогнутыя линіи, они повторяются до непріятной монотонности. Ненужной точностью совершенно испорченъ видъ многихъ изящно обставленныхъ комнатъ.

Занавѣси рѣдко расположены хорошо, или рѣдко хорошо выбраны въ соотвѣтствіи съ другими предметами обстановки. При строгой и законченной обстановкѣ занавѣси неумѣстны; и объемистыя волны драпри какого бы то ни было рода никоимъ образомъ не могутъ быть примиримы съ хорошимъ вкусомъ — надлежащій ихъ объемъ, такъ же какъ и надлежащее ихъ расположеніе, опредѣляется характеромъ общаго впечатлѣнія.

Ковры за послѣднее время нашли лучшее пониманіе, чѣмъ прежде. Но все еще мы слишкомъ часто дѣлаемъ ошибки относительно ихъ узоровъ и цвѣта. Коверъ — душа комнаты. Изъ него должны быть выведены не только краски, но и формы всѣхъ окружающихъ предметовъ. Тотъ, кто судитъ въ области обычнаго права, можетъ быть за-

уряднымъ человѣкомъ; чтобы хорошо судить о коврахъ, *нужно* быть геніемъ. А намъ приходилось слышать, какъ различные господа, которымъ не слѣдовало бы довѣрять уходъ за ихъ собственными усами, разсуждаютъ о коврахъ, съ видомъ *d'un mouton qui rêve* <sup>1)</sup>. Всякій знаетъ, что широкой полъ *можетъ* быть покрытъ широкими фигурами, но что узкій полъ *долженъ* быть покрытъ узкими фигурами, — эта истина однако еще не сдѣлалась достояніемъ всего міра. Что касается ткани, единственно допустимой является Саксонская. Брюссельская представляетъ изъ себя обветшавшую древность моды, а Турецкая представляетъ изъ себя вкусъ въ ея агоніи. Что касается узоровъ, коверъ *не* долженъ быть разукрашенъ, какъ какой-нибудь Индѣйскій красавецъ — красный карандашъ, желтая охра, и пѣтушьи перья. Говоря вкратцѣ — явственный фонъ и яркія круговыя, или кругообразныя, фигуры, *не имѣющія никакого значенія*, являются здѣсь Мидійскими законами. Отвратительное господство цвѣтовъ, или изображеніе каквихъ бы то ни было хорошо извѣстныхъ предметовъ, не должны быть терпимы въ предѣлахъ Христіанскихъ государствъ. На самомъ дѣлѣ, на коврахъ ли, на занавѣсяхъ ли, или на шпалерахъ, или на матеріи, обтягивающей оттоманку, на всякой обивкѣ такого рода должны строго господствовать арабески. Что касается тѣхъ древнихъ половинокъ, которые еще можно встрѣтить въ обиталищахъ черни — половинокъ съ огромными раскоряченными и расходящимися въ разныя стороны фигурами, съ перекрестными полосами, и разукрашенныхъ всѣми красками, такъ что фонъ совершенно непостижимъ — эти половики ничто иное, какъ злополучное изобрѣтеніе, созданное расою прислужниковъ времени и любовниковъ денегъ — чадами Ваала и почитателями Маммона — Бентамами, которые, чтобы сберечь мысль и сэкономизировать фантазію, сперва жестокимъ образомъ

---

1) Грезящаго барана.



изобрѣли калейдоскопъ, а потомъ основали акціонерныя компаніи, чтобы вращать его паромъ.

*Блескъ* является главнымъ заблужденіемъ въ Американской философіи домашняго убранства — заблужденіемъ, которое столь же легко понять, какъ и вывести изъ только что означенной извращенности вкуса. Мы бѣшено влюблены въ газъ и стекло. Первый безусловно недопустимъ въ домѣ. Его рѣзкій и непостоянный свѣтъ оскорбителенъ. Никто изъ имѣющихъ мозгъ и глаза не будетъ пользоваться имъ. Мягкій, или то, что художники называютъ холодный свѣтъ, своими соотвѣтственно теплыми тѣнями можетъ сдѣлать чудеса даже съ дурно обставленной комнатою. Никогда не было болѣе ласковой мысли, чѣмъ мысль объ астральной лампѣ. Мы разумѣемъ, конечно, астральную лампу подходящую — лампу Арганда съ ея настоящимъ ровнымъ стекляннымъ абажуромъ, и съ ея умѣренными и однообразными лунными лучами. Абажуръ изъ граненаго стекла есть жалкое изобрѣтеніе дьявола. Жадность, съ которой мы поспѣшили принять его, частью оттого, что онъ такъ *блеститъ*, главнымъ же образомъ оттого, что онъ такъ *дорого стоитъ*, лучшая иллюстрація къ положенію, съ котораго мы начали. Не слишкомъ много — сказать, что тотъ, кто сознательно выбралъ для себя абажуръ изъ граненаго стекла, или совершенно лишенъ вкуса, или слѣпо подслуживается къ капризамъ моды. Свѣтъ, проистекающій изъ такихъ блистательныхъ чудовищностей, неровный, ломаный, и мучительный. Его одного совершенно достаточно, чтобы испортить цѣлую систему хорошихъ эффектовъ въ обстановкѣ, подверженной его влиянію. Женская красота, въ особенности, болѣе чѣмъ наполовину теряетъ свое очарованіе подъ его дурнымъ глазомъ.

Что касается стекла, мы вообще основываемся на ложныхъ принципахъ. Основная его черта въ томъ, что оно *блеститъ*: — и въ этомъ одномъ словѣ сколько того, что ненавистно намъ! Мерцающіе, безпокойные огни *иногда*

бываютъ пріятны — для дѣтей и для идіотовъ всегда — но какъ украшеніе комнаты они должны быть тщательно избѣгаемы. По правдѣ сказать, даже и *ровные* огни недопустимы, когда они сильны. Огромные и бессмысленные стеклянные канделябры съ призматическими гранями, освѣщенные газомъ и безъ абажура, являясь принадлежностью нашихъ наиболѣе фешенебельныхъ гостиныхъ, могутъ быть указаны, какъ квинтэссенція всего, что ложно въ смыслѣ вкуса и недѣло по глупому замыслу.

Манія *блестательности* — ибо эта мысль, какъ мы замѣтили раньше, ошибочно слилась съ представленіемъ о роскоши вообще — привела насъ также къ преувеличенному употребленію зеркалъ. Мы завѣшиваемъ наши жилища большими Британскими зеркалами, и воображаемъ, что этимъ самымъ сдѣлали нѣчто превосходное. Но самое незначительное усиліе мысли можетъ убѣдить того, кто имѣетъ глаза, какос невыгодное вліяніе оказываютъ многочисленныя зеркала, особенно большія. Будучи разсматриваемо независимо отъ своей способности отраженія, зеркало представляетъ изъ себя сплошную, плоскую, безцвѣтную, ничѣмъ не оживленную поверхность — нѣчто всегда и очевидно непріятное. Будучи разсматриваемо, какъ рефлекторъ, оно — дѣйствительно, въ смыслѣ способности создавать чудовищное и противное однообразіе: это зло еще усиливается не въ прямой пропорціи съ увеличеніемъ его источниковъ, но въ отношеніи постоянно возрастающемъ. На самомъ дѣлѣ, комната съ четырьмя или пятью зеркалами, размѣщенными наудачу, во всѣхъ смыслахъ безформенна, съ точки зрѣнія художественнаго впечатлѣнія. Если мы прибавимъ къ этому злу сопровождающую его блеску на блескѣ, мы получимъ истинную смѣсь рѣзкихъ, непріятныхъ эффектовъ. Даже человекъ ничего несмыслящій, войдя въ комнату, такимъ образомъ разукрашенную, тотчасъ замѣтитъ, что въ ней что-то неладно, хотя бы онъ былъ совершенно неспособенъ уяснить причину своего неудовольствія. Но введите

его же въ комнату, убранную со вкусомъ, и онъ невольно издастъ восклицаніе удовольствія и удивленія.

Это благодаря нашимъ республиканскимъ учрежденіямъ возникаетъ такое зло, что здѣсь человѣкъ съ тупымъ карманомъ обыкновенно обладаетъ весьма ограниченной душой. Порча вкуса составляетъ часть или является параллелью промышленности, гдѣ царствуетъ долларъ. По мѣрѣ того, какъ мы богатѣемъ, наша мысль покрывается ржавчиной. Поэтому, если мы хотимъ найти одухотворенность Британскаго *будуара*, мы отнюдь не должны ея отыскивать у *нашей* аристократіи (если вообще можно искать ее въ Аппалахіи). Но мы видали Американскія комнаты, убранныя сообразно современнымъ средствамъ, и однако, по крайней мѣрѣ въ отрицательныхъ своихъ достоинствахъ, они могли бы соперничать съ любымъ изъ *раззолоченныхъ* кабинетовъ нашихъ друзей по ту сторону океана. Вотъ даже и *сейчасъ* передъ глазами нашего ума возникаетъ небольшая и непышная комната, въ убранствѣ которой не можетъ быть найдено ни одного недостатка. Собственникъ ея лежитъ на диванѣ и спитъ — на дворѣ холодно — время около полуночи: мы набрасаемъ очеркъ этой комнаты, пока онъ спитъ.

Она продолговата — футовъ тридцать въ длину, футовъ двадцать пять въ ширину — такъ какъ эта форма даетъ наилучшую (обычную) возможность для приведенія въ порядокъ предметовъ обстановки. Въ ней только одна дверь — никоимъ образомъ не широкая — она находится на одномъ концѣ параллелограмма, и въ ней лишь два окна, находящіяся на другомъ его концѣ. Окна большія, они достигаютъ пола, съ глубокими углубленіями — и выходятъ на Итальянскую *веранду*. Стекла ихъ алаго цвѣта, въ рамахъ изъ розоваго дерева, болѣе чѣмъ обыкновенно массивныхъ. Они завшены въ углубленіи плотной серебряной тканью, приспособленной къ формѣ окна и свободно висящей небольшими складками. Въ углубленія находятся занавѣси изъ не-

обыкновенно богатаго алаго шелка, окаймленная густой золотой сѣткой и подбитыя серебряной тканью, изъ которой сдѣлана также и виѣшняя штора. Карнизовъ нѣтъ; но сгибы верхнихъ частей стѣнъ (не столько массивные, сколько крутые и имѣющіе воздушный характеръ) выходятъ изъ-подъ широкаго выступа съ богатой позолотой, окружающаго всю комнату въ мѣстѣ скрещенія потолка со стѣнами. Драпри раскрываются или задергиваются также съ помощью толстаго золотого шнурка, свободно обвивающаго ихъ и легко разрѣшающагося въ узелъ; ни занавѣсныхъ розетокъ, ни другихъ подобныхъ закрѣпокъ не видно. Окраска занавѣсей и ихъ бахромы — алый цвѣтъ и золото — повсюду предстаетъ въ изобиліи, и опредѣляетъ *характеръ* комнаты. Коверъ — коверъ изъ Саксонскаго матеріала — ровно въ полдюйма толщины, и у него того же алаго цвѣта фонъ, смягченный лишь видомъ золотого шнурка (наподобіе фестоновъ занавѣсей), слегка выступающаго надъ поверхностью *фона*, и брошеннаго на него такимъ образомъ, что получается нѣкоторая послѣдовательность короткихъ неправильныхъ изгибовъ — какъ бы лежащихъ одинъ на другомъ. Стѣны затянуты гляцевитой бумагой серебряно-сѣраго цвѣта, на которой разсѣяны небольшія арабески болѣе слабаго оттѣнка, чѣмъ господствующій алый цвѣтъ. Нѣсколько картинъ оживляютъ пространство стѣнъ. Среди нихъ главнымъ образомъ пейзажи фантастическаго характера — вродѣ причудливыхъ гротовъ Стэнфильда или озерковъ „Мрачной Топп“ Чапмана. Есть кромѣ того три-четыре женскія головки воздушной красоты — портреты въ манерѣ Сѣлли. Тонъ каждой картины теплый, но темный. Здѣсь нѣтъ „блистательныхъ эффектовъ“. Во всемъ чувствуется *успокоеніе*. Нѣтъ ни одной картины небольшихъ размѣровъ. Уменьшительная живопись придаетъ комнатѣ тотъ *запятнанный* видъ, который осквернилъ столько изящныхъ, но чрезмѣрно выписанныхъ картинъ. Рамы широки, но не глубоки, съ богатой рѣзбой, *не тусклымъ*, и не

филигранные. Они хранятъ полноту сіянія полированного золота. Къ стѣнамъ они примыкаютъ плотно, не свѣшиваясь на веревкахъ. Сами картины нерѣдко выигрываютъ, когда они такъ свѣшиваются, но общій видъ комнаты бываетъ испорченъ. Видно только одно зеркало — и притомъ не очень большое. По формѣ оно почти круглое и виситъ такъ, что отраженіе лица не можетъ быть получено ни съ одного изъ обычныхъ, предназначенныхъ для сидѣнія, мѣстъ комнаты. Два низкіе большіе дивана изъ розоваго дерева и алаго шелка, съ золотыми цвѣтами, являются единственными сидѣніями, за исключеніемъ двухъ легкихъ козетокъ, тоже изъ розоваго дерева. Фортепіано (равнымъ образомъ изъ розоваго дерева), открытое, и безъ чехла. Восемьугольный столъ, сдѣланный цѣликомъ изъ богатѣйшаго мрамора съ золотыми жилками, стоитъ около одного изъ дивановъ. На немъ также нѣтъ никакой покрышки — достаточно однихъ занавѣсей въ комнатѣ. Четыре большія и роскошныя Севрскія вазы съ цѣлымъ множествомъ нѣжныхъ и яркихъ цвѣтовъ, занимаютъ слегка закругленные углы комнаты. Высокіе канделябры съ небольшою античною лампадой, въ которой горитъ душистое масло, стоятъ въ головахъ около моего спящаго друга. Нѣсколько легкихъ и изящныхъ висячихъ полокъ, съ золотыми краями и на шелковыхъ алыхъ шнуркахъ съ золотыми кисточками, заполнены двумя-тремястами прекрасно переплетенныхъ книгъ. Кромѣ этого въ комнатѣ нѣтъ никакихъ другихъ предметовъ обстановки, за исключеніемъ лампы Арганда, съ ровнымъ, алымъ, стекляннымъ абажуромъ, свѣшивающейся съ высокаго сводчатаго потолка на тонкой золотой цѣпи и роняющей на все спокойный, но магическій свѣтъ.

---

## ОТРЫВКИ И АФОРИЗМЫ.

### 1. Адамъ.

Насколько сильно выразительна аттестація Адама, данная нижней части одной изъ старыхъ картинъ, находящихся въ Ватиканѣ.— „*Adam, divinitus edoctus, primus scientiarum et literarum inventor*“. („Адамъ, боговдохновенно наученный, первый изобрѣтатель наукъ и письменъ“).

### 2. Всемогущій Долларъ.

Римляне почитали свои знамена; и такъ случилось, что Римское знамя было орломъ. Наше знамя лишь десятая доля Орла \*) — Долларъ — но мы дѣлаемъ все, чтобы обожать его съ удесятеннымъ почитаніемъ.

### 3. Американскіе критики.

Увы, сколь многіе Американскіе критики пренебрегаютъ счастливымъ указаніямъ мосье Тимона — „*que le ministre de l'Instruction Publique doit lui-même savoir parler Français*“ (что самъ Министръ Народнаго Просвѣщенія долженъ умѣть говорить по-французски).

---

\*) Eagle — значить орелъ, а также наименованіе Американской монеты въ десять долларовъ. К. Б.

4. Американская Литература. — Национальность.

За послѣднее время много говорилось о необходимости поддерживанія истой *національности* въ Американской Литературѣ, но въ чемъ состоитъ эта національность, или что ею можетъ быть выиграно, никто въ точности не уразумѣлъ. Что Американцы должны ограничиваться Американскими темами, или хотя бы предпочитать ихъ, это скорѣе политическая идея, чѣмъ литературная—и во всякомъ случаѣ это пунктъ спорный. Мы хорошо сдѣлали бы, если бы помнили, что „разстояніе доставляетъ зрѣлищу очарованіе“. *Ceteris paribus*, чужестранная тема, въ строго литературнымъ смыслѣ, должна быть предпочитаема. Послѣ всего, міръ въ своей широтѣ есть единственная законная сцена для литературнаго *гистріона*.

Но въ необходимости *такой* національности, которая защищаетъ нашу литературу, поддерживаетъ нашихъ литераторовъ, и опирается на наши собственные средства, не можетъ быть ни малѣйшей тѣни сомнѣнія. Однако именно въ данномъ отношеніи мы нерадивы до послѣдней степени. Мы жалуемся на отсутствіе Международнаго Права Авторской Собственности, по той причинѣ, что это отсутствіе даетъ возможность нашимъ книгоиздателямъ наводнять насъ Британскими мнѣніями въ Британскихъ книгахъ; между тѣмъ, когда эти же издатели, на свой собственный рискъ, и даже съ явнымъ для себя ущербомъ, печатаютъ какую-нибудь Американскую книгу, мы отворачиваемъ свой носъ съ величайшимъ презрѣніемъ, (это фактъ общепринятый), пока эта Американская книга не получитъ санкцію „ее можно прочесть“ отъ какого-нибудь безграмотнаго критика, изъ сферъ литературной черни. Развѣ это будетъ преувеличеніемъ сказать, что у насъ мнѣніе Вашингтона Ирвинга, Прескотта, Брайэнта-равняется нулю въ сравненіи съ мнѣ-

ніемъ какого-нибудь безъимяннаго подъ-подъ-издателя „Spectator'a“, „Athenaeum'a“, или Лондонскаго „Punch'a“? Это не преувеличеніе. Это весьма торжественный — поистинѣ чудовищный фактъ. Любой издатель во всей странѣ допустить что это фактъ. Нѣтъ подъ солнцемъ болѣе отвратительнаго зрѣлища, чѣмъ наше подслуживанье къ Британскому критицизму. Оно отвратительно во-первыхъ потому, что это унизительно, раболѣпно, малодушно, во-вторыхъ потому, что это совершенно безсмысленно. Мы знаемъ, что Британцы ничего не имѣютъ по отношенію къ намъ, кромѣ нерасположенія; мы знаемъ, что никогда они не высказываютъ непредубѣжденныхъ сужденій объ Американскихъ книгахъ; мы знаемъ, что въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда о тѣхъ или иныхъ нашихъ писателяхъ говорили въ Англіи довольно прилично, эти писатели или открыто преклонялись передъ Англійскими учрежденіями, или таили въ глубинѣ своихъ сердець какой-нибудь скрытый принципъ, враждебный Демократіи—мы знаемъ все это, и однако же день за днемъ склоняемъ наши выи подъ унизительное ярмо грубѣйшаго мнѣнія, истекающаго изъ отчей страны. Ну, *если ужь говорить* о національности, пусть это будетъ національность, которая сбросить это ярмо.

Мы на самомъ дѣлѣ требуемъ національнаго самоуваженія. Въ области Литературы, также какъ и въ Управленіи, мы требуемъ Объявленія Независимости. Еще лучше было бы Объявленіе Войны—и эту войну немедленно нужно было бы перенести „въ Африку“.

### Б. Аналогія.

Въ физическомъ мірѣ есть извѣстные факты, имѣющіе поистинѣ удивительную аналогію съ другими фактами изъ области мысли, и дающіе такимъ образомъ извѣстную окраску истинности (ложному) риторическому догмату, гласящему, что метафора или уподобленіе можетъ



усилить какой-нибудь аргументъ, также какъ украсить описаніе. Такъ напимѣрь, принципъ *vis inertiae* съ общемо суммой скорости движенія, ей пропорціональной, и съ нею какъ послѣдствіе связанной, повидимому тождествененъ какъ въ физической области, такъ и въ метафизической. Какъ вѣрно то, что въ первой обширное тѣло приводится въ движеніе съ большей трудностью, нежели тѣло малое, и что слѣдующая за этимъ сила движенія соразмѣрна съ данной трудностью, такъ точно вѣрно, что во второй разумы болѣе обширныхъ способностей, будучи болѣе сильными, болѣе постоянными, и болѣе объемлющими въ своихъ движеніяхъ, чѣмъ разумы низшей степени, въ то же время менѣе охотно движутся, и они болѣе затруднены и болѣе полны колебаній при первыхъ шагахъ своего поступательнаго стремленія.

#### 6. Уничтоженіе.

Мы могли бы измыслить очень поэтическую и полную внушеній, хотя, быть можетъ, не имѣющую достаточныхъ основаній, философію, предположивъ, что добродѣтельные живутъ въ иномъ мірѣ, тогда какъ злые терпятъ уничтоженіе, и что опасность уничтоженія (въ прямомъ соотношеніи съ грѣхомъ), могла бы быть указана ночнымъ сномъ, а также, при случаѣ, съ большей отчетливостью, обморокомъ. Напимѣрь, способность души къ уничтоженію должна была бы находиться въ соотвѣтствіи съ той или иной степенью безсновидѣнности сна. Подобнымъ же образомъ, если мы падаемъ въ обморокъ и просыпаемся съ полнымъ отсутствіемъ сознанія извѣстнаго промежутка времени, прошедшаго втеченіи обморока, душа, значить, была въ такомъ состояніи, что, если бы наступила смерть, послѣдовало бы уничтоженіе. Съ другой стороны, если оживаніе сопровождается воспоминаніемъ о видѣніяхъ (какъ въ дѣйствительности это иногда и бываетъ), тогда душа, повидимому, должна находиться въ такомъ состояніи,

что существованіе ея послѣ тѣлесной смерти должно быть обезпечено — блаженство или злосчастность существованія указывались бы характеромъ видѣній.

### 7. *Опредѣленіе Искусства.*

Если бы меня попросили опредѣлить, *очень* кратко, что такое „Искусство“, я назвалъ бы его „воспроизведеніемъ того, что Чувства воспринимаютъ въ Природѣ черезъ покровъ души“. Простое подражаніе тому, что *есть* Природа, хотя бы точное, не даетъ никакому человѣку права называться священнымъ именемъ „Художникъ“. Деннеръ не былъ художникомъ. Виноградные гроздья Зевксиса были *не* художественными — таковыми они были лишь въ птичьихъ глазахъ; и даже занавѣсъ Парразія не могъ бы скрыть здѣсь недостатка генія. Я сказалъ „*покровъ души*“. Нѣчто въ этомъ родѣ, повидимому, составляетъ въ Искусствѣ необходимость. Мы можемъ, въ любую минуту, удвоить истинную красоту настоящаго ландшафта полузакрывъ наши глаза, въ то время какъ мы на него смотримъ. Обнаженные Чувства иногда видятъ слишкомъ мало — но затѣмъ *всегда* они видятъ слишкомъ много.

### 8. *Механизмъ Искусства.*

Ясно видѣть механизмъ — шестерни и колёса — какого-нибудь произведенія Искусства, несомнѣнно, представляетъ, само по себѣ, извѣстное наслажденіе, но такое, что мы можемъ его испытывать какъ разъ лишь настолько, насколько мы *не* испытываемъ законный эффектъ, замысленный художникомъ; и дѣйствительно, слишкомъ часто бываетъ, что размышлять аналитически объ Искусствѣ это то же самое, что отражать въ себѣ предметы по методу зеркалъ, находящихся въ храмѣ Смирны, и представляющихъ самыя красивыя вещи искаженными.

## 9. Художникъ.

„Художникъ принадлежитъ своему произведенію, не произведеніе художнику“.

*Новалисъ.*

Въ девяти случаяхъ изъ десяти это пустая трата времени—пытаться исторгнуть смыслъ изъ какого-либо Германскаго афоризма; или, скорѣе, какой-либо смыслъ и всякій смыслъ можетъ быть исторгнутъ изъ нихъ всѣхъ. Если въ вышеприведенной сентенціи тотъ смыслъ, что художникъ, подразумѣвается, есть рабъ своей темы, и долженъ согласовать съ нею свои мысли, я не вѣрю въ эту мысль, которая представляется мнѣ принадлежащей уму, по существу своему прозаическому. Въ рукахъ *истиннаго* художника тема, или „произведеніе“, есть не болѣе какъ куча глины изъ которой (въ границахъ, указываемыхъ размѣромъ и качествомъ глины) можетъ быть образовано что угодно по произволу, или въ соотвѣтствіи съ искусствомъ работника. Глина, на самомъ дѣлѣ, есть рабъ художника. Она принадлежитъ ему. Его геній достовѣрно, и весьма отчетливо, сказывается въ *выборѣ* глины. Отвлеченно говоря, она не должна быть ни тонкой, ни грубой—но именно настолько тонкой, или настолько грубой,—настолько пластической или настолько негибкой—насколько это нужно, чтобы наилучше послужить для выполненія задуманной вещи—для выраженія извѣстной мысли, или, точнѣе говоря, для оказанія извѣстнаго впечатлѣнія. *Есть* однако художники, которые берутъ воображеніемъ лишь *самый тонкій* матеріалъ, и производятъ поэтому *самыя тонкія* издѣлія. Они обыкновенно очень прозрачны и чрезвычайно хрупки.

### 10. „Синіе чулки“.

Наши „синіе чулки“ умножаются въ сильной степени, и нужно было бы въ крайнемъ случаѣ подвергнуть ихъ истребленію хоть черезъ десятаго. Неужели у насъ нѣтъ ни одного критика достаточно крѣпко-нервнаго, чтобы повѣсить дюжины двѣ изъ нихъ, *in terrorem* (страха ради)? Онъ долженъ конечно пользоваться при этомъ шелковой петлей—какъ это дѣлаютъ въ Испаніи по отношенію ко всѣмъ градамъ голубой крови—*„sangre azula“*.

### 11. Краткость.

Не каждый можетъ выполнить „что-нибудь хорошее“ въ точномъ смыслѣ слова, хотя, быть можетъ, когда что-нибудь хорошее въ точномъ смыслѣ выполнено, каждый десятый человекъ, котораго вы встрѣтите, будетъ способенъ понять и оцѣнить это. Мы никакъ не можемъ заставить себя повѣрить, чтобы для составленія дѣйствительно хорошей „краткой статьи“ требовалось менѣе настоящаго умѣнья, чѣмъ для написанія приличной повѣсти обычныхъ размѣровъ. Повѣсть конечно требуетъ того, что названо длительнымъ усиліемъ—но это не болѣе, какъ дѣло настойчивости, и имѣетъ лишь косвенное отношеніе къ таланту. Съ другой стороны, единство эффекта—качество нелегко оцѣниваемое или настоящимъ образомъ понимаемое обычнымъ умомъ, и желаемое трудно для достиженія, хотя бы стремящіеся къ нему могли его постичь; это качество необходимо въ „краткой статьѣ“, но оно не составляетъ необходимости въ обычной повѣсти. Если послѣдняя вызываетъ восхищеніе, ею восхищаются изъ-за отдельныхъ ея мѣстъ, безъ отношенія къ произведенію какъ къ цѣлому, или безъ отношенія къ какому-либо общему замыслу—и, если таковой даже существуетъ въ извѣст-

ной степени, онъ, какъ окажется, лишь мало занималъ вниманіе писателя и, благодаря размѣрамъ повѣствованія, не можетъ быть охваченъ читателемъ съ одного взгляда.

## 12. Искусство разговаривать.

Чтобы хорошо разговаривать, нуженъ холодный тактъ таланта — чтобы хорошо говорить, пламенное *самозавненіе* генія. Однако, люди *очень* высокой геніальности говорятъ иногда *очень* хорошо, иногда *очень* плохо: — хорошо, когда у нихъ много времени, когда они вполне свободны, и когда они связаны симпатіей съ своими слушателями: — плохо, когда они боятся, что ихъ прервутъ, и когда они досадуютъ на невозможность исчерпать предметъ втеченіи этой частной бесѣды. Неполный геній свѣтитъ вспышками — онъ весь изъ обрывковъ. Истинный геній пугается неполноты, несовершенства — и обыкновенно предпочитаетъ молчать, нежели сказать что-нибудь, что не представляетъ изъ себя всего, надлежащаго быть сказаннымъ. Онъ такъ полонъ своимъ замысломъ, что онъ нѣмъ. Впервыхъ потому, что онъ не знаетъ, какъ начать, ибо вѣчно за началомъ представляется начало, и вовторыхъ потому, что онъ видитъ свою истинную цѣль на такомъ безконечномъ разстояніи. Иногда, ринувшись въ обсужденіе предмета, онъ сбивается, колеблется, останавливается, и смущается, и такъ какъ онъ былъ подавленъ натискомъ и многосложностью своихъ мыслей, его слушатели смѣются надъ его неспособностью мыслить. Подобный человѣкъ находитъ свою собственную стихію при тѣхъ „великихъ случаяхъ“, которые смущаютъ и поражаютъ разумъ толпы.

Тѣмъ не менѣе, человѣкъ, умѣющій хорошо разговаривать, вообще оказываетъ на людей гораздо болѣе рѣшительное вліяніе, чѣмъ говорящій — своей рѣчью: послѣдній неизмѣнно говоритъ съ болѣшими результатами, когда онъ держитъ въ рукахъ перо. И люди, умѣющіе хорошо разго-

варивать, болѣе рѣдки, чѣмъ люди, умѣющіе хорошо говорить. Я знаю многихъ изъ числа послѣднихъ; изъ числа первыхъ лишь пять или шесть. Большинство людей, при разговорѣ, заставляютъ насъ проклясть нашу звѣзду за то, что намъ суждено быть не среди представителей той Африканской расы, о которой упоминаетъ Эвдоксъ: эти дикари не имѣли рта, и, слѣдственно, никогда его не открывали. И однако же, за отсутствіемъ рта, нѣкоторыя особы, которыхъ я имѣю въ виду, ухитрились бы продолжать болтать—какъ они это дѣлаютъ и теперь—носомъ.

### 13. *О трусости.*

Тотъ не воистину храбръ, кто боится показаться, или быть, трусливымъ, когда это ему слѣдуетъ.

### 14. *О Де-Фо.*

Хотя Де-Фо имѣлъ бы полныя права на безсмертіе, если бы онъ и не написалъ „Робинзона Крузо“, однако многія изъ его другихъ превосходныхъ произведеній совершенно исчезли изъ нашего вниманія, затѣненные превосходнѣйшимъ блескомъ приключеній Йоркскаго моряка. Какой лучшей возможной славы могъ бы желать авторъ этой книги, въ сравненіи съ той славой, которой она пользуется? Эта книга сдѣлалась необходимой принадлежностью въ каждомъ семействѣ всего Христіанскаго міра. Но никогда успѣхъ книги—всемирный успѣхъ—не былъ болѣе неяснымъ или болѣе неподходящимъ въ своемъ примѣненіи. Ни одинъ изъ десяти—нѣтъ, ни одинъ изъ пятисотъ человѣкъ—при чтеніи „Робинзона Крузо“ не имѣетъ ни малѣйшаго представленія о томъ, чтобы хотя частица генія или даже обычнаго таланта была вложена въ его созданіе. Никто не смотритъ на это произведеніе съ точки зрѣнія литературнаго выполненія. Де-Фо не принадлежитъ ни одна изъ мыслей лицъ, его читающихъ, Робинзону—всѣ. Не были ли силы, создавшія чудо, брошены

въ область забвенія именно поразительностью чуда, ими созданнаго? Мы читаемъ и дѣлаемся совершенными абстракціями, въ напряженности нашего интереса—мы закрываемъ книгу, вполне убѣжденные, что мы сами могли бы такъ же написать. Все это создано могучими чарами правдоподобія. На самомъ дѣлѣ, авторъ Робинзона Крузо долженъ былъ обладать болѣе, чѣмъ какими-нибудь способностями — тѣмъ, что было названо способностью *отожествленія*—господствомъ воли надъ воображеніемъ, дающимъ уму возможность утратить свою собственную индивидуальность въ вымышленной. Это связано въ значительной степени съ способностью отвлеченія; и, обладая такими ключами, мы можемъ отчасти проникнуть въ тайну того очарованія, которое такъ долго облекало лежащую передъ нами книгу. Но полное объясненіе нашего интереса къ ней не можетъ быть мотивировано такимъ образомъ. Де-Фо очень обязанъ своему сюжету. Представленіе о человѣкѣ, находящемся въ состояніи полного одиночества, хотя раньше и часто возникало, до тѣхъ поръ никогда не было развито такъ полно. Частое возникновеніе этой мысли въ умахъ людей обезпечивало широкое вліяніе на ихъ симпатіи. А тотъ фактъ, что ни одна изъ попытокъ не дала этому представленію законченной формы, свидѣтельствуетъ о трудности задачи. Но правдивое повѣствованіе Селькирка въ 1711-омъ году, и могущественное впечатлѣніе, оказанное имъ на публику, въ достаточной степени внушило Де-Фо и смѣлость, необходимую для его произведенія, и настоящую вѣру въ его успѣхъ. И какъ удивителенъ былъ результатъ!

### 15. Судьба Превосходства.

Меня иногда забавляло воображать себѣ, какова бы должна была быть судьба личности, одаренной, или вѣрнѣе проклятой, разумомъ *весьма и весьма* превосходнымъ сравнительно съ разумомъ его расы. Конечно онъ сознавалъ

бы свое превосходство; не могъ бы онъ также (если впрочемъ по существу своему онъ былъ бы человѣкомъ) скрывать проявленія этого сознанія. Такимъ образомъ на всѣхъ пунктахъ онъ создалъ бы себѣ враговъ. И такъ какъ его мнѣнія и умозрѣнія сильно отличались бы отъ мнѣній и умозрѣній *всего* человѣчества, очевидно, онъ былъ бы сочтенъ сумасшедшимъ. Какъ ужасна мучительность такого положенія! Адъ не могъ бы выдумать пытки большей, нежели эта: быть обремененнымъ ненормальною слабостью по причинѣ ненормальной силы.

Подобнымъ же образомъ, ничего не можетъ быть очевиднѣе, какъ то, что духъ *очень* великодушный — *истинно* чувствующій то, что всѣ лишь исповѣдуютъ — неизбежно встрѣтилъ бы ложное пониманіе по всѣмъ направленіямъ — побудительные его мотивы были бы ложно истолкованы. Совершенно такъ же какъ предѣльность ума была бы сочтена слабоуміемъ, на избытокъ рыцарства стали бы смотрѣть какъ на самую послѣднюю низость — и то же самое со всѣми другими положительными нравственными качествами. Эта тема воистину мучительна. Что отдѣльныя личности *воспаряли* такъ высоко надъ уровнемъ своей расы, объ этомъ врядъ ли можетъ быть споръ, но, бросая взглядъ назадъ черезъ исторію, и отыскивая слѣдовъ ихъ существованія, мы должны были бы обойти невниманіемъ всѣ жизнеописанія „добрыхъ и великихъ“, и въ то же время тщательно разсматривать малѣйшія повѣствованія о несчастныхъ, которые умерли въ тюрьмѣ, въ сумасшедшемъ домѣ, или на висѣлицѣ.

---



# Книгоиздательство „СКОРПИОНЪ“.

## I. СТИХИ.

- Н. Д. Бальмонтъ.** Полное собраніе стиховъ. Томъ I. („Подъ Сѣвернымъ Небомъ“, „Въ безбрежности“, „Тишина“). М. 1905 г. Ц. 2 руб.  
Томъ II. („Горячія зданія“ и „Будемъ какъ солнце“). М. 1904 г. Ц. 3 р.
- Валерій Брюсовъ.** Urbi et orbi. Стихи 1900—1903 г. Ц. 2 р.  
**Валерій Брюсовъ.** Stephanos. Вѣнокъ. Стихи. 1903—1905 г. Ц. 2 р.
- Ив. Бунинъ.** Листопадъ. Стихотворенія. М. 1905 г. Ц. 1 р.
- Андрей Бѣлый.** Золото въ лазури. Первый сборникъ стиховъ. Обложка Н. Теофилактова. М. 1904 г. Ц. 2 р.
- З. Н. Гиппиусъ.** Собраніе стиховъ. М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к.
- А. Добролюбовъ.** Изъ книги невидимой. М. 1905 г. Ц. 1 р.
- Вячеславъ Ивановъ.** Прозрачность. Вторая книга лирики. Обложка Н. Теофилактова. М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к.
- Ив. Коневской.** Стихи и проза. Посмертное собраніе сочиненій, съ портретомъ автора и предисловіемъ Валерія Брюсова. М. 1904 г. Ц. 2 р.
- Д. С. Мережковский.** Собраніе стиховъ. М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к.
- Федоръ Сологубъ.** Собраніе стиховъ. М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к.
- Оскаръ Уайльдъ.** Тюремная баллада. (Баллада Рэдингской тюрьмы). Переводъ съ англійскаго размѣромъ подлинника К. Бальмонта. Обложка (портретъ О. Уайльда) работы М. Дурнова. М. 1904 г. Ц. 50 к.

## II. РОМАНЫ И РАЗСКАЗЫ.

- Андрей Бѣлый.** Сѣверная симфонія (1-я, героическая) въ 4 частяхъ. Обложка воспроизводитъ рисунокъ О. Бердслея. М. 1904 г. Ц. 75 к.
- Кнутъ Гамсунъ.** Панаъ. Изъ записокъ лейтенанта Глана. Романъ. Пер. съ норвежскаго С. А. Полякова. Пред. К. Бальмонта. М. 1901 г. Ц. 1 р.
- Жагадись.** Облака. М. 1905 г. Ц. 65 к.
- Кнутъ Гамсунъ.** Съеста. Очерки и рассказы. Переводъ съ норвежскаго С. А. Полякова. М. 1900 г. Ц. 1 р.
- М. Мэтерлинь.** Избленіе младенцевъ. Рассказъ. Со статьей. А. ванъ-Бевера о жизни и творчествѣ М. Мэтерлинка. М. 1904 г. Ц. 40 к.
- Эдгаръ По.** Собраніе сочиненій въ переводѣ К. Д. Бальмонта. Томъ I. Поэмы, сказки, рассказы. М. 1901 г. Ц. 1 р. 50 к.  
Томъ II. Рассказы, статьи. М. 1905. Ц. 2 р.
- Ст. Пшибышевскій.** Полное собраніе сочиненій, въ 4 томахъ. Томъ I. Homo Sapiens. Романъ въ 3 частяхъ. Пер. М. Семенова. Изд. 2-е. М. 1904 г. Обложка Н. Теофилактова. Ц. 2 р. 40 к.  
Томъ II. Pro domo mea. De profundis. У моря. Сыны Земли. (Романъ въ 3 ч.). Пер. М. Семенова, Е. Троповскаго и С. Полякова. М. 1905 г. Обложка Н. Наумана. Ц. 2 р. 40 к.

- Ст. Шибышевскій.** Сынны Земли. Романъ. Пер. Е. Троповскаго  
М. 1905 г. Ц. 50 к  
**Федоръ Сологубъ.** Жало Смерти. (Шесть рассказовъ). М. 1905 г.  
Ц. 1 р. 50 коп.

### III. ДРАМЫ.

- Габріэль д'Аннуціо.** Трагедіи „Мертвый городъ“, „Джіоконда“,  
„Слава“. Переводъ съ итальянскаго Ю. Балтрушайтиса.  
М. 1900 г. Ц. 1 р. 25 к.  
**Кнутъ Гамсунъ.** Драма жизни. Переводъ съ норвежскаго С. А.  
Полякова. М. 1905 г. Ц. 50 коп.  
**Генрикъ Ибсенъ.** Когда мы мертвые проснемся. Пер. съ  
норвежскаго С. А. Полякова и Ю. Балтрушайтиса. Изд. 2-е.  
М. 1900 г. Ц. 50 коп.  
**Л. Зиновьева-Аннибалъ.** Кольца. Драма въ 3-хъ дѣйств. Предисл.  
Вячеслава Иванова. Обложка Н. Феофилактова. М. 1904 г.  
Ц. 1 р. 80 к.  
**Ст. Шибышевскій.** Вѣчная сказка. Пер. Е. Троповскаго. Печата-  
ется.  
**Артуръ Шницлеръ.** Зеленый попугай. Трилогія („Парацельсъ“,  
„Подруга“, „Зеленый попугай“). Перев. съ нѣмецкаго. М.  
1900 г. Ц. 60 к.

### IV. ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

- Г. Ландсбергъ.** Долой Гауптмана! Переводъ съ нѣмецкаго  
М. Семенова. М. 1902 г. Ц. 70 к.  
**Н. Лернеръ.** Труды и дни А. С. Пушкина. Хронологиче-  
скія данныя жизни Пушкина. М. 1903 г. Ц. 1 р.  
**Д. С. Мережковскій.** Гоголь и чортъ. Исслѣдованіе. Обложка  
Н. Феофилактова. М. 1905 г. Ц. 2 р.  
**Письма Пушкина и къ Пушкину.** Новые матеріалы. Редакція и при-  
мѣчанія Валерія Брюсова. Приложены факсимиле рисун-  
ковъ и рукописей А. Пушкина. М. 1903 г. Ц. 1 р. 50 к.

### V. АЛЬМАНАХИ.

- Сѣверные цвѣты** на 1901 г. Стихи, рассказы, статьи. Обложка К.  
Сомова. М. 1901 г. Ц. 1 р.  
**Сѣверные цвѣты** на 1902 г. Статьи, рассказы, статьи. Обложка  
К. Сомова. М. 1902 г. Ц. 1 р.  
**Сѣверные цвѣты.** Альманахъ за три года—1901, 1902, 1903 г. Боль-  
шой томъ свыше 600 стр. Стихи, рассказы, статьи К. Баль-  
монта, Валерія Брюсова, З. Гиппіусъ, М. Лохвицкой, Д. Ме-  
режковскаго, Н. Минскаго, В. Розанова, К. Случевского,  
К. Фофанова, А. Чехова и др. Письма А. С. Пушкина,  
Ө. Тютчева, И. С. Тургенева, А. Фета, Вл. Соловьева,  
Н. Некрасова и др. Виньетки и заставки К. Сомова, Л.  
Блжста, М. Волошина и др. Обложка В. Борисова-Муса-  
това. М. 1904 г. Ц. 3 р.

**Сѣверные цвѣты Ассирійскіе** на 1904—5 г. Роскошное изданіе. Содержаніе: „Три разцвѣта“, драма К. Бальмонта. „Земля“, сцены изъ будущихъ временъ, Валерія Брюсова, „Танталъ“, трагедія Вяч. Иванова, стихи и рассказы С. Соловьева, Макса Волошина, Ф. Сологуба, Н. Минскаго, З. Гипшусъ, М. Кривицкаго, Ю. Череды, Л. Зиновьевой-Аннибалъ и др. Обложка и всё украшенія Н. Теофилактова. М. 1905 г. Ц. 6 р., для подписчиковъ „Вѣсовъ“ 3 р.

#### **РАСПРОДАННЫЯ ИЗДАНЫЯ.**

- К. Д. Бальмонтъ.** Будемъ какъ солнце. Обложка Фидуса М. 1903 г.  
**Валерій Брюсовъ.** Tertia Vigilia. Стихи 1897—1900. М. 1901 г.  
**Андрей Бѣлый.** Симфонія (2-я драматическая). М. 1902 г.  
**А. Добролюбовъ.** Собранія стиховъ. Предисловія Валерія Брюсова и Ив. Коневского. М. 1900 г.  
**Лукрецій Каръ.** О природѣ вещей. Перевелъ И. Рачинскій. М. 1904 г.  
**Д. Мережковскій.** Любовь сильнѣе смерти. М. 1902 г.  
**А. Л. Миропольскій.** Лѣствица. Предисловіе Валерія Брюсова. М. 1902 г.  
**Сѣверные цвѣты** на 1903 г. Обложка Л. Бакста. М. 1903 г.

**КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „СКОРПИОНЪ“** высылаетъ всѣмъ, выписывающимъ непосредственно изъ склада (Москва, Театральная площадь, д. „Метрополь“, кв. 23), свои изданія, принимая почтовые расходы на свой счетъ. Но расходы по наложенію платежа гг. покупатели должны принимать на себя.

Провинціальныя книжныя магазины пользуются уступкой 30%, но должны принимать на себя расходы по пересылкѣ книгъ. Гг. подписчики „Вѣсовъ“ пользуются скидкой 15% со всѣхъ изданій к-ва „Скорпионъ“, кромѣ изданныхъ въ небольшомъ количествѣ.

Адресъ конторы книгоиздательства „Скорпионъ“ и редакціи журнала „Вѣсы“: Москва, Театральная пл., д. „Метрополь“, кв. 23. (Телефонъ 50—89). Контора открыта, кромѣ праздниковъ, отъ 2 до 7 ч. вечера. Отдѣленіе конторы: Петербургъ, Садовая 18, книжный складъ „Комиссіонеръ“.

Ежемѣсячный журналъ искусствъ и литературы

## „В Ъ С Ы“.

1906. ГОДЪ ИЗДАНІЯ ТРЕТІЙ.

Въ 1906 году „Вѣсы“ издаются подъ прежней редакціей и при прежнемъ составѣ сотрудниковъ, но въ увеличенномъ объемѣ и по значительно расширенной программѣ, въ которую включенъ **беллетристическій отдѣлъ**.

Въ „Вѣсахъ“ 1906 г. будутъ помѣщаться: стихи, романы, повѣсти, рассказы, драматическія произведенія, самостоятельныя статьи по всѣмъ общимъ вопросамъ, выдвигаемымъ жизнью, литературой и наукой, характеристики и біографіи современныхъ дѣятелей слова и искусства, критическія статьи о выдающихся новыхъ произведеніяхъ мысли и подробные критическіе обзоры литературной и художественной жизни всей Европы. „Вѣсы“ имѣютъ собственныхъ корреспондентовъ во всѣхъ европейскихъ центрахъ умственной жизни. Каждый № „Вѣсовъ“ даетъ подробную бібліографію русскихъ и иностранныхъ книгъ.

Съ № 1 „Вѣсовъ“ 1906 года начнется печатаніемъ **историческій романъ Валерія Брюсова** изъ эпохи нѣмецкаго реформаціоннаго движенія XVI вѣка, въ трехъ частяхъ.

Въ „Вѣсахъ“ принимаютъ участіе: К. Бальмонтъ, Ю. Балтрушайтисъ, Валерій Брюсовъ, Андрей Бѣлый, Максъ Волошинъ, З. Гишпіусъ, Ренэ Гиль (René Ghil), Реми де Гурмонъ (Remy de Gourmont), Н. Доскинъ, С. Ещбоевъ, Вячеславъ Ивановъ, В. Каллашъ, К. Коровинъ, С. Котляревскій, Маркъ Криницкій, В. Лазурскій, Н. Лернеръ, М. Ликиардопуло, Д. Мережковскій, Н. Минскій, В. Морфилъ (W. Morfill) Дж. Папини (G. Papini), П. Перцовъ, Ст. Пшибышевскій (S. Przsybysevski), С. Рафаловичъ, И. Рачинскій, В. Ребиковъ, А. Ремизовъ, Н. Рерихъ, В. Розановъ, В. Садовской, М. Семеновъ, Ф. Сологубъ, Д. Философовъ, Г. Чулковъ, Максимилианъ Шикъ (Max Schick), А. Яценко и др.

„Вѣсы“ выходятъ 12 разъ въ годъ, въ концѣ каждого мѣсяца, тетрадами около 100 страницъ, съ оригинальными рисунками и виньетками русскихъ и иностранныхъ художниковъ.

**Условія подписки.** Годъ съ доставкой и пересылкой по всей Россіи — пять рублей. Адресъ: Москва, Театральная площадь, д. „Метрополь“, кв. 23. Телефонъ 50 — 89.

Редакторъ - издатель С. А. Поляковъ.